



**РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ
САГА**



ЕЛЕНА АРСЕНЬЕВА

ГОД ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Русская семейная сага

Елена Арсеньева

Год длиною в жизнь

«Автор»

Арсеньева Е. А.

Год длиною в жизнь / Е. А. Арсеньева — «Автор», — (Русская семейная сага)

ISBN 978-5-699-22011-3

Париж, парк Тюильри. Элегантная пожилая дама наблюдает за гуляющими детьми и их родителями. Вот эта красивая женщина вполне могла бы быть ее дочерью, есть в ней что-то родное. Могла бы, если бы... Рита Аксакова Ле Буа погружается в воспоминания. Такая долгая жизнь за плечами, а пронеслась, как один год... Вторая мировая война, в Париже фашисты: юная Рита стоит перед алтарем церкви – у нее тайное венчание... Год 1965-й: Рита в России, в волжском городе Энске, в ее сердце врывается новое чувство. Однако ей нельзя любить Георгия Аксакова! Она вдвое его старше. Да и в совпадении их фамилий нет случайности... Но все же любовь была – самая лучшая, самая светлая...

ISBN 978-5-699-22011-3

© Арсеньева Е. А.

© Автор

Содержание

Пролог из 2007 года	5
1965 год	10
1940 год	22
1965 год	26
1941 год	35
1965 год	43
1941 год	52
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Елена Арсеньева

Год длиною в жизнь

Где-то, когда-то, давным-давно тому назад...

И. Тургенев

*Весь мир – как огромный цветок.
Ты плачешь от счастья, без сил,
При мысли, что хоть на часок
И ты этот мир посетил.*

А. Лодзинский

*...И потому, что время длится бесконечно,
И потому, что этот мир велик,
И потому, что мы с тобой могли
Не повстречаться...*

*Благословляем мы богов
За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать,
За то, что все вольются реки
Когда-нибудь в морскую гладь...*

Р. Броунинг

Пролог из 2007 года

Старая дама сидела в зеленом металлическом кресле около фонтана в Тюильри и щурилась на ослепительное небо. Среди череды сырых и ветреных дней, ознаменовавших начало года (даже в ночь на первое января шел настоящий, праздничный, новогодний проливной дождь), наконец-то выдался такой вот – тоже ветренный, но до того солнечный, что с самого раннего утра Тюильри был наполнен народом. Нет, многочисленные туристы, решившие встретить Новый год в красивейшем городе мира, еще не выползли из своих отелей – это парижане ловили краткий миг света и сияния. Опять же, день был выходной, поэтому около фонтана, карусели и коновязи толпились мамы и папы со своими отпрысками. От карусели до старой дамы долетали звуки незатейливых веселеньких мелодий, от фонтана – жадное кряканье уток, которые выпрашивали у зевак кусочек багета, а от коновязи доносился успокаивающий голос маленького рассудительного португальца, который водил по кругу выводок терпеливых пони и осликов. На их спинах восседали парижане в возрасте от двух до семи лет. Малышню привязывали к седлам веревками. Те, что постарше, сами вдевали ноги в стремяна, сами держались, щеголяли удалством, снисходительно поглядывая на родителей, и ужасно негодовали, если какая-нибудь аан или grand-иге пристраивались обочь кавалькады, беспокоясь за свое дитяtko. Впрочем, ехидно подумала старая дама, почти каждый парижанин может нынче сказать о себе: «Je 'en foutise!»,¹ – ну а выдается это за то, что они, мол, уважают достоинство подрастающего

¹ Это выражение примерно соответствует нашему: «Мне все по фигу!»

поколения. А потому большинство родителей терпеливо переминалось с ноги на ногу у коновязи, ожидая, когда дети и внуки вернутся с верховой прогулки.

Не смогла преодолеть своего беспокойства только одна высокая женщина. Она шла рядом с пони, на котором сидела амазонка лет двух. Женщина следила за малышкой, а старая дама следила за ней.

Конечно, не француженка. Сразу видно! Слишком красивая. Это ведь всем известно, как закон природы: если дама элегантно одета, значит, француженка. Если красива – значит, славянка. Да, есть что-то такое в лице, особенно – в безмятежном взгляде серых глаз. Европейцы так не смотрят, не умеют смотреть, вот разве что дети... но и те отучаются очень быстро: жизнь их отучает. Ну, *c'est la vie!* А славяне сохраняют такой взгляд до преклонного возраста – да, их загадочная душа... Поскольку старая дама сама имела славянские корни, она очень любила это выражение о загадочной славянской душе.

А вот, кстати, о возрасте. Интересно, сколько лет красивой славянке? Стройная, лицо почти без морщинок, хорошо одета... Да разве угадаешь возраст нынешних ухоженных дам? Ей может быть и тридцать пять, и сорок пять, и больше, современная косметика творит чудеса. Повезло нынешним красавицам!

– Ты не боишься? – раздался обеспокоенный голос той женщины, и старая дама даже вздрогнула: надо же, угадала! Она в самом деле славянка, вдобавок русская. Теперь дама поглядывала на эту особу с особенным любопытством.

Несмотря на то что фамилия дамы была Ле Буа и она родилась и всю жизнь прожила во Франции, она тоже была русская. Чистокровная русская! Ле Буа ее звали не по мужу, а по отчиму. Замуж мадам Ле Буа (вообще-то ее следовало бы называть мадемуазель, но, согласитесь, как-то не совсем ловко именоваться девицею в возрасте восьмидесяти двух лет, поэтому она никогда не поправляла тех, кто называл ее мадам) за всю свою жизнь так и не вышла, хотя любовников у нее было великое множество. Единственный раз она собиралась под венец, но не успела – жениха ее убили. И с тех пор ни разу не возникало у нее желания связать хоть с кем-то свою судьбу. А впрочем, нет, однажды все же мимолетно взбрела ей в голову такая блажь... Это было сорок два года тому назад. Но, конечно, тот порыв и в самом деле был сущей блажью. Во-первых, долго нельзя так любить, как любили они с тем мужчиной. Страсть в браке быстро проходит, и на смену ей является тоска. Выходить замуж по страсти следует только в шестнадцать-семнадцать лет. Когда она собиралась под венец впервые, ей как раз исполнилось шестнадцать, и она была страстно влюблена, что было вполне нормально, естественно. А вот в другой раз... Главное, тот человек был совершенно чужд ей, ну вообще чужой человек, из далекой и страшной, чужой, хоть и родной страны... Ох, какая кошмарная страна – Россия! Когда-то оттуда бежали отец и мать мадам Ле Буа, а потом, спустя почти полвека, бежала и она... с растерзанным сердцем, потеряв за один только год столько души своей, что, казалось, вовек не обрести утраченного, никогда более не обрести покоя. Но время, всемогущее время унесло горе, смыло его, как река. Время и в самом деле похоже на реку, на воду – все смывает. И лечит все, будто целебная вода. Хорошо это или плохо? Неизвестно. Шекспир отвечал однозначно: «Время – для немногих счастье, скорбь – для всех!»

Мадам Ле Буа пожала плечами. Она бы не стала утверждать столь категорично. Ей-то воспоминания о былых временах уже не приносят ни скорби, ни счастья, ни ужаса. Хотя... Нет, она лукавит перед собой. Разве вчера вечером, когда она шла мимо церкви Святого Юстава в Ле Аль, она не испытала подлинного страха от внезапно нахлынувшего воспоминания?

Вчера вечером старая дама решила прогуляться по Монтергёй. Она любила эту шумную пешеходную улицу со множеством магазинов. Здесь сказочные кондитерские и булочные, а рыбные, мясные и цветочные лотки и фромажерии² держат не арабы, которых теперь сплошь

² От франц. *froage* – сыр.

и рядом видишь даже в центре, а настоящие французы. Еще их отцы и деды держали те же самые рыбные, мясные и цветочные лотки и фромажерии – здесь же, на Монтергёй, рядом с Центральным рынком, со знаменитым Чревом Парижа, воспетым Золя. Может быть, если бы мадам Ле Буа встретила с этими самыми отцами и дедами, у них нашлось бы, о чем поговорить, о чем вспомнить, сидя за столиком одного из здешних многочисленных бистро, которые тоже помнят былое... Она ведь тут часто бывала в прежние времена! Неподалеку от Монтергёй, вон там, за углом, была конспиративная квартира 9-й группы парижского отделения FFL, Forces de la France Libre, войск Свободной Франции. Может быть, в нее входил и кто-то из старожилов Монтергёй...

Но, скорей всего, никого из тех стариков уже нет – как нет больше и Чрева Парижа. Теперь на его месте прелестный парк. Только она что-то задержалась тут, на этом свете. Одинокая старуха, переполненная воспоминаниями, будто ее китайская шкатулка – пуговичками. Боже мой, каких только пуговичек там нет! Даже с матушкиных платьев! Их начала собирать еще в Харбине grand-aan...

Нет, ну при чем здесь давно покойная grand-aan? При чем здесь пуговички? Мысли скачут, совершенно как блохи на уличной собаке, не угнаться за ними!

Кажется, сто лет прошло с тех пор, как она видела настоящую уличную собаку. Это хорошо, конечно, что больше нет бездомных псов, а все-таки почему-то хочется встретить на улице вдруг не одного из рафинированных золотистых ретриверов или страшненьких тигровых бульдогов, а веселую лохматую дворняжку с любопытной, словно бы улыбающейся мордой – как раньше, давным-давно...

Стоп. Мысли опять разлетелись. Монтергёй, она почему-то вспоминала про Монтергёй... Почему? Может быть, потому, что однажды видела здесь саму английскую королеву? Да-да, ее величество Елизавета тоже любила Монтергёй и как-то раз, во время очередного визита в Париж, решила прогуляться по этой чудной улице. Конечно, она была окружена толпой охраны и толпищей зевак, так что старая дама увидела не то чтобы королеву, вернее, совсем не королеву, а всего лишь краешек розовой вуали, красивым облачком осенявшей королевскую шляпку. А это, конечно, не считается.

Ах нет, сообразила вдруг мадам Ле Буа, она вспоминала Монтергёй вовсе не из-за королевы, а из-за того высокого парня, который внезапно появился из-за церкви Святого Юсташа. Он шел быстрой, решительной походкой, развернув плечи. На нем было крохотное кепи с маленьким козырьком, надвинутое на лоб, короткое приталенное пальто, распахнутое так, что были видны свитер и галифе, заправленные в высокие, до колен, сапоги с узкими голенищами. Мадам Ле Буа даже ахнула, когда его увидела, даже зажала испуганно рот ладонью. Совершенно так одевались в Париже во время оккупации те парни, которые пошли на службу к гитлеровцам. Это был их особый шик: куртка, перешитая из шинели, кепи, надвинутое на лоб, сапоги и галифе. Увидишь такого франта – и понимаешь: перед тобой прихвостень бошей. Среди них были не только французы, но и русские, такие же отпрыски эмигрантов, как и Рита Ле Буа, и они были почему-то особенно безжалостны к соотечественникам, которые работали в Сопротивлении...

Мода нынче вернулась – на такие же кепи, такие же галифе и сапоги? Или этот парень в самом деле выскользнул из дальнего уголка воспоминаний, глубоко запрятанных в душе старой дамы?

Она не любила вспоминать войну, как, впрочем, не любила вспоминать кое-что, случившееся уже во вполне мирные времена: в 1965 году. В том году она побывала в России... Она предпочитала проскальзывать в своем сознании мимо этих двух событий – совершенно как умело делал то же самое Время, о котором писал в «Зимней сказке» Шекспир:

Я – для немногих счастье, скорбь – для всех.

Для злых и добрых – страх и радость...
Я вечно то же, с древности далекой
До наших дней. Мое взидало око
На самое начало бытия;
И сделаю таким же прошлым я
То, что царит теперь. Оно увянет
И сказкою, как эта сказка, станет!
Перевернуть часы позвольте мне
И думайте, что были вы во сне.

Старая дама деликатно зевнула, прикрыв рот рукой, затянутой в коричневую замшевую перчатку, и устало прищурилась. Ее и в самом деле вдруг стало клонить в сон. Слишком уж ярко светило нынче солнце, вот в чем дело. Не по-зимнему, а по-весеннему! Сверкали мраморные статуи богов и героев, сверкала белая щебенка, которой усыпана земля в Тюильри, сверкала вода в фонтане, и даже перья отъевшихся на туристских багетах уток сверкали...

Сверкают перья уток? Absurde. У нее просто что-то с глазами. Вот что подумала мадам Ле Буа. В старости такое бывает. Видишь то, чего нет, вспоминаешь то, о чем не стоит вспоминать, вообще лезет в голову всякая ерунда. Например, сейчас она подумала, глядя вслед той русской женщине, которая все еще идет за кавалькадой маленьких всадников, что, если бы в 1965 году в России не умерла ее новорожденная дочь, она бы выглядела сейчас, наверное, совершенно так, как эта красивая дама. Ей было бы чуть за сорок. А кто эта маленькая девочка, которая сидит на пони? Ее внучка? Или поздняя дочь? Значит, такой же девочкой могла бы быть внучка или правнучка мадам Ле Буа, и ей не пришлось бы коротать жизнь в полном одиночестве.

оп Dieu и Боже мой, это уже маразм. Во всех русских женщинах, которым под сорок, она невольно видит свою дочь, как будто та не умерла, едва успев родиться!

«Успокойся, – строго сказала она себе. – Не думай больше об этом. От таких мыслей ты начинаешь волноваться, а волноваться в твои годы вредно».

Время, о котором писал Шекспир, Старик Время, как называл его Метерлинк, – много ли они оставили ей *времени?*..

Старая дама поудобнее устроилась в металлическом кресле, вытянула ноги в изящных замшевых туфлях, увы, уже изрядно испачканных белой пылью. Определенно, у нее уже начался старческий маразм. О чем она только думала, надевая их в Тюильри? Все знают: в замшевой обуви сюда приходиться нельзя, теперь туфли непоправимо испорчены. Эту пыль ничем не отчистишь до конца, все равно остаются белесые пятна. Придется покупать новые, искать вот такую же замшу, которая бы подходила по цвету к перчаткам... Ну не смешно ли: подбирать не перчатки к туфлям, а туфли к перчаткам?

А впрочем, слабо улыбнулась старая дама, в ее годы уже смешно заботиться о таких мелочах. На ее век как-нибудь хватит и этих туфель. Пусть даже и с пятнышками!

«Я знаю, век мой уж измерен...» Она вздохнула. Или зевнула? «Я знаю, век мой уж измерен, но чтоб продлилась жизнь моя...» Как там дальше? Как же, как же?.. Неужели не вспомнить? Ах, вот, вспомнила! «Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я!» Эти стихи из «Евгения Онегина» читал ей тот мальчик... ну да, он был совсем мальчишка, герой ее давнего-давнего романа...

Мадам Ле Буа повернула голову и посмотрела вслед той женщине. Нет, конечно, она ни при каких обстоятельствах не может быть ее дочерью, ведь тогда у нее были бы черные глаза, как у отца. А у нее, кажется, серые... у мадам Ле Буа тоже серые... Или все-таки может случиться, чтобы у черноглазого отца и сероглазой матери родилась сероглазая дочь?

Старая дама смежила веки. «Забудь!» – приказала она себе. А почему бы не вздремнуть под зимним, но совершенно весенним солнцем, под шум фонтана? Она поспит совсем чуть-

чуть, а потом пойдет к себе, в свою квартиру близ площади Мадлен. Им, Ле Буа, испокон веков принадлежал весь этот дом. Налоги, конечно, высоки, во Франции просто грабительские налоги. Ну так что ж, она не бедствует, совсем нет, на ее век хватит, на ее век...

1965 год

– Они живут на Ашхабадской, угол улицы Невзоровых, в том доме, где 29-я поликлиника, – сказал заведом. – Начало мероприятия в двенадцать часов. Сам решай, поедешь со всеми на кладбище или только на поминки заглянешь.

– Да, наверное, сначала на кладбище надо бы поехать, – пробормотал Георгий. – А то как-то неудобно получится: вдруг явился, как с печки упал, – и сразу за стол. Там небось только свои будут, коллеги его. Вообще все это неловко... Может, мне завтра или послезавтра прийти в больницу и поговорить там о нем? Ну какое интервью может быть на похоронах?

– Ладно тебе миндальничать, Аксаков, – недовольно двинул стулом заведом. – Ты что, идешь на похороны какого-нибудь Ваньки Пупкина, сормовского слесаря? Не-ет, хоронят не последнее в городе лицо! Знаменитого хирурга, к которому едут лечиться со всех концов нашей необъятной родины!

– Ехали, – вздохнул Георгий.

– Что? – осекся заведом. – А, ну да, конечно, *ехали*. Энск по праву может гордиться своим сыном. Юношей он по зову сердца уехал в составе комсомольского отряда покорять целинные земли, бросив медицинский институт. Во время степного пожара он получил ожоги, долго болел и вынужден был вернуться в Энск. Однако не пал духом: закончил институт, а вскоре стал ведущим хирургом ожогового центра областной больницы, уникальным специалистом по пересадке кожи. И это в тридцать с небольшим лет! Что и говорить, жизнь давала ему щедрые авансы... как жаль, что ему не суждено было ими воспользоваться!

Георгий чуть приподнял брови. Сколько ни приучали его штамповать газетные статьи из готовых словесных кирпичей, он никак не мог к этому привыкнуть. Привыкать, если честно, было неохота. Не успеешь оглянуться, как вообще разучишься не только писать, но и разговаривать по-людски. Вот заведом уже разучился, бедолага. Хотя, сказать по правде, насчет авансов, которые давала жизнь, не так уж плохо получилось.

Заведом между тем задумчиво моргал. Выражение и ему понравилось. Он даже сам не ожидал, что способен родить нечто столь свеженькое. «Надо бы записать», – подумал он, но тотчас мысленно махнул рукой.

– Дарю фразу тебе, Аксаков, – сказал с отеческой интонацией. – Вставишь в свой *матерьяльчик*. Пользуйся на здоровье!

– Спасибо, Иван Исаевич, – кивнул Георгий. – Фраза что надо!

– Вот именно...

Заведом суетливо перекладывал гранки на столе. Ему стало ужасно жалко «авансов», но теперь уже деваться некуда. Как говорит младшая дочка – школьница, подарки не отдарки. И чего он расщедрился? Для него эта фраза – случайная удача, а Аксаков, мальчишка, такие печет, будто теща – блины на Масленицу. Талантлив, как бес, пишет, как птица поет! Вот и для него жизнь щедра, ох, щедра на авансы! Оно, конечно, цыплят по осени считают, а все же случается, что и под осень жизни, в сорок пять, считать уже нечего. И никаких цыплят ты уже не высидишь, как ни тужься, заведом областной газеты Иван Исаевич Полозков...

– Ладно, Аксаков, поезжай, чего время тянешь? – сказал он уныло. – Если хочешь успеть к выносу, надо всю подметки рвать.

– А можно я возьму редакционный «газик»? – спросил Георгий.

– А вот от барства отвыкать надо, Аксаков, – укоризненно вскинул глаза заведом. – Ты еще не генерал, как твой отчим. И не редактор газеты. И до заведом тебе еще расти да расти. Это руководящему составу казенный транспорт положен, а ты молодой, хоть и подающий надежды, журналист-практикант, на «двойку» садись, которая идет по городскому кольцу. Или вообще – ножками, ножками...

– Нет, я уж лучше на трамвае. «Зайчики в трамвайчике...» – хмыкнул Георгий, выходя из кабинета, и немедленно стер улыбку с лица: все-таки он ехал на похороны. И хотя день был чудесный, уже совсем летний, в такой день только по сторонам глазеть, заглядываться на широкие, накрахмаленные юбки девчонок, которые как взгромоздились три года назад на шпильки, так и не собираются с них слезать, хотя мужчине и вообразить трудно, как можно ходить на таких жутких, ненадежных подпорках, но вот ходят же, и *как* ходят... Словом, день никак не располагал к печали или хотя бы к грустным размышлениям, однако Георгий все пытался собраться с мыслями.

Пока он собирался, трамвай ушел. Из-под носа ушел! Ждать следующего можно было до завтрашнего дня: «двойка» ходила хуже всех энских номеров, что было общеизвестно. Да и зачем ждать? Прав Полозков: ножками, ножками придется...

Георгий свернул со Свердловки на Октябрьскую, потом на Дзержинскую – и вскоре, пробежав дворами, оказался на улице Горького, почти напротив кинотеатра «Спутник». Глянул на афишу. Эх ты, черт, «Фантомас разбушевался» уже прошел, а так хотелось посмотреть... Первый «Фантомас» чепуха, конечно, но чепуха интересная. Вдобавок там играет эта невероятно хорошенькая блондинка, худенькая и элегантная, Милен Демонжо. Георгий уже видел ее в «Трех мушкетерах». Господи, вот это фильм! Георгий ходил на него *тринадцать* раз! На счастье, фильм вышел на экраны еще до начала практики, не то он и его бы пропустил. Классная киношка, очень красивая. Какие костюмы, какие дворцы! Но ведь это все история, а «Фантомас» – фильм современный. Хотя... ужасное вранье, конечно. Нет, не в том смысле, что сюжет фантастический – бывает фантастика и покруче, например, «Туманность Андромеды» Ефремова, – а в том смысле, что люди так жить не могут, как современные французы в фильме. В реальной жизни они не могут носить такую хорошую одежду, жить в таких квартирах, ездить на таких автомобилях... В газетах то и знай пишут про нечеловеческие условия труда в капиталистическом обществе. Ну и жизнь в бытовом смысле, наверное, там нечеловеческая. Так что фильм, конечно, – туфта. Пропагандистская буржуазная агитка.

Или нет? Э, про такое лучше не думать! Дай себе волю, и до чего только не додумаешься...

– Жаль, что «Фантомас» уже прошел. С этой работой дохнуть некогда, снова хорошую киношку пропустил, – проворчал Георгий, чувствуя себя невероятно счастливым именно оттого, что ему даже в кино сходить не хватает времени, а когда кончится практика и его возьмут в штат, наверное, времени на кино еще меньше останется.

Когда-нибудь, лет через тридцать или даже сорок, Георгий Аксаков напишет автобиографию. Мемуары! И первой фразой маститого автора будет: «Я родился для того, чтобы стать журналистом...»

Он перешел улицу. Рядом с кинотеатром был вход в парк Кулибина. Говорят, раньше здесь находилось кладбище. Теперь от него сохранились только две могилы: самого изобретателя-самоучки и бабушки Алеши Пешкова, вернее, великого советского писателя Максима Горького. Все остальное стало парком – довольно мрачным, сырым, темным и прохладным. Мама, баба Саша и покойная баба Люба (до недавнего времени у Георгия было две бабушки) парк почему-то терпеть не могли, баба Саша вообще сюда никогда не ходила, но объяснять ничего не объясняла. Это было как-то связано с ее прошлым, еще до рождения Георгия баба Саша «сидела». Тогда был культ личности, ныне осужденный. Осужденный-то осужденный, однако толком рассказывать про те времена никто не хотел. Сразу начинались какие-то оглядки, недомолвки, в глазах людей проскальзывал страх... Смешно! Как будто в наше время, в нашей стране могут кого-то преследовать за политические убеждения! Конечно, если ты не антисоветчик, ты можешь сказать все, что хочешь, ведь у нас самое справедливое и свободное государство на земле. Но, к сожалению, баба Саша думала иначе.

Георгий попал в парк Кулибина лет в пятнадцать, когда их класс повели на какую-то экскурсию и нужно было пройти через парк. Ну и что такого особенного в этом месте? Подумаешь, кладбище тут было. Всякие оживающие мертвецы или потревоженные духи покойников – просто предрассудки. Нет здесь никаких духов! Зато комаров всегда какое-то невероятное, болотно-тропическое количество, вот они донимают похлеще призраков. Впрочем, несмотря на тучи комаров, на лавочках сейчас все же сидели многочисленные парочки, как минимум по две на каждой лавке. А вон одинокая девчонка, мимоходом отметил Георгий. Кавалер опаздывает? Может, и не придет вовсе. Вполне может быть! Девчонка-то совсем не современная – с косой, и юбка не пышная, и блузка не капроновая, а просто ситцевая, белая в горошек, и туфли не на шпильках... Сейчас у таких скромненьких барышень с косичками уже нет никаких надежд найти хорошего кавалера – когда кругом столько стриженных, модных и бойких красоток. Другие времена настали!

Георгий промчался через парк с такой скоростью, что комары разлетались перед ним в некотором даже испуге и не осмеливались гнаться. Выскочил на Белинку и притормозил. О, на афише кинотеатра имени Белинского – зеленая лысая голова Фантомаса! Вот, значит, куда он перебрался с центральных экранов. Так, на двенадцать есть сеанс. Георгий машинально сунул руку в карман, нашаривая гривенник, но тут же вспомнил, куда идет. Нет, Фантомасу придется еще немного поскучать без него, и Милен Демонжо останется ждать встречи с Георгием, совсем как та девочка на лавочке – своего кавалера. Работа прежде всего!

Он чуть не опоздал. Гроб, обитый красной тканью, уже вынесли из коммуналки, где жил Вознесенский, и поставили на табуретах на лужайке, заросшей мелкой аптечной ромашкой и темно-зеленой муравой. Вокруг толпился народ. За спинами, среди вороха цветов едва можно было разглядеть сложенные на груди руки покойника – покрытые желтой, как бы глянцевой кожей, и такой же желтый глянцевый лоб. Лучший хирург ожогового центра с собственными ожогами сладить не мог – они были слишком обширны. Георгий встречался с Олегом Вознесенским один раз – на какой-то медицинской конференции, о которой писал по заданию редакции, – и надолго запомнил ужас, который испытал при виде этого высокого человека. Великолепные черные волосы не скрывали рубцов на голове, яркие черные глаза, которые когда-то, наверное, были красивыми, теперь казались пугающими в обрамлении полосок желто-розовых век без признаков ресниц. Страшное лицо! Но стоило Олегу заговорить, стоило перестать смотреть на хирурга, а начать слушать – впечатление сразу менялось. У него был потрясающий голос, внушающий безоглядное доверие. Такие голоса бывают у первоклассных актеров. Олег Вознесенский был комсоргом курса, и недаром, когда он ринулся на целину, десятка два студентов оставило институт и поехало вместе с ним. Зачаровал он их своим голосом, наверное! Эти бывшие студенты по-прежнему работали где-то в Казахстане, стали настоящими целинниками. Ничего об их судьбах Георгий не знал, а сейчас подумал, что неплохо было бы разузнать и упомянуть о них в статье. А может быть, кто-то тоже вернулся в Энск и сейчас стоит около гроба, провожая в последний путь товарища боевой комсомольской юности?

Георгий поморщился – штамп. Долой штампы! Внимательней к словам и даже к мыслям, будущий автор мемуаров, будущий маститый писатель!

Георгий скользил взглядом по лицам. Кто эти плачущие женщины в черном? Каждая из них по возрасту годилась бы Олегу Вознесенскому в матери. Однако, насколько было известно Георгию, тот воспитывался в детдоме, родни не имел, после целины так и не женился. Значит, у гроба собрались только друзья и коллеги? Ого, сколько народу! Наверное, и благодарные пациенты здесь есть. Стоп, а это кто? Очень высокий, седой, широкоплечий... Герой войны Федор Федорович Лавров! В нынешнем году, когда праздновали двадцатилетие Победы над фашистами, о нем много писали. Совершенно невероятная личность. В сорок первом попал в плен, был в концлагере, бежал оттуда, сражался в отряде французского Сопротивления. Участвовал в освобождении Парижа! Потом вернулся домой, в смысле, в Союз, но почему-то в род-

ной город Энск явился только через десять лет и жил тихо-тихо, никто даже и не знал о его подвигах. И вот недавно все открылось, практически случайно: в комитет ветеранов пришло письмо из Франции – бывшие партизаны, участники движения Сопротивления, разыскивали товарища по оружию. Настоящее потрясение для Энска, а уж для областной больницы, где скромно работал Лавров в хирургическом отделении, – и подавно. Ох как налетела на него пресса! Кажется, не было в Энске, области да и в центральных изданиях журналиста, который не писал бы о подвигах Лаврова. Но, читая все *матерьяльчики о герое*, Георгий заметил: рассказывая о себе, Лавров ни словом не обмолвился о тех десяти годах, которые прошли между войной и возвращением в Энск. Где он был? Неужели тоже стал жертвой сталинских репрессий, как баба Саша? Почему же молчит об этом? Стыдится? Но ведь сейчас совсем другое время!

Лавров работал вместе с Олегом Вознесенским в областной больнице, то-то и пришел нынче на его похороны. А кто стоит с ним рядом? Какая красивая женщина!

«Стыд и позор, товарищ Аксаков! – сказал Георгий себе, усмехнувшись. – Ты где находишься? О чем думаешь? И в кого только ты такой уродился...»

Совершенно неведомо в кого. Может быть, в прадеда – Константина Анатольевича Русанова, который, судя по некоторым слухам, был гуляка еще тот... А может быть, в двоюродного деда – Александра Константиновича Русанова. Хотя нет, про деда никаких таких слухов скромных не ходило. Наверное, от него Георгий унаследовал только страсть к журналистике, ведь Александр Русанов еще до революции сотрудничал в «Энском листке», который потом стал «Рабоче-крестьянским листком», затем «Энской коммуной», а теперь звался «Энским рабочим». Георгий не раз подумал о том, что когда он закончит университет и станет настоящим журналистом, то возьмет себе псевдоним и станет подписывать свои *матерьяльчики* фамилией Русанов. Вот такое замечательное наследство достанется ему от двоюродного деда! А что Георгий унаследовал от деда родного, Дмитрия Дмитриевича Аксакова, сгинувшего невесть где во время Гражданской, он не знал. Баба Саша, жена Дмитрия Аксакова, рассказывала, что и месяца рядом с мужем не прожила: их разлучила Первая мировая война, ну а потом как пошло, как пошло... От самой бабы Саши, а также от мамы Георгий легкомыслия набраться никак не мог: обе они женщины очень серьезные, даже строгие. Отчим тоже уродился однолюбом и молился на Ольгу Аксакову, мать Георгия, как на икону, всю жизнь (да и в любом случае наследственность отчима пасынку достаться никак не могла, нет таких биологических законов). Не исключено, что страсть к женскому полу передал сыну тот неведомый Георгий, с которым когда-то у матери случился в госпитале, в войну, роман. Потом тот Георгий ушел на фронт и погиб... Больше мама ничего не рассказывала. Может, он и не погиб вовсе, может, другую нашел? Но мама его не забыла, это Георгий знал. Она назвала сына в его честь (правда, баба Саша иногда путается и называет внука почему-то Игорем, но, с другой стороны, какая уж разница – Георгий или Игорь? Нравится ей – пусть как хочет, так и зовет!) и не позволила дяде Коле дать ему свою фамилию и отчество: отчим, мама и младшая сестра Верунька носят фамилию Монахины, а Георгий – Аксаков; сестра Верунька – Николаевна, а Георгий – Георгиевич. Ох и путаницу это создавало – то, что у него другая фамилия, не такая, как у отчима и матери! Впрочем, пока мама ездила за дядей Колей по гарнизонам, маленький Георгий жил с бабой Сашей и бабой Любой. Уже потом дядя Коля вышел в отставку, вернулся в Энск – и произошло, так сказать, воссоединение семейства. Георгий, конечно, по маме тосковал, но зато никто не мог крикнуть ему вслед презрительно: генеральский сыночек! Никогда он генеральским сыночком, забалованным и закормленным, не был, обе бабки его так жучили, так воспитывали, что не дай Бог! Весь спорт был его: баба Саша и баба Люба все надеялись, что он станет расти получше. Вот что точно он унаследовал от деда Александра Русанова, кроме страсти к журналистике, так это невысокий рост и хрупкое сложение. Глаза – чернющие! – у него, видимо, отцовы.

Кстати, как он на генеральского сынулю не похож, так и мама не похожа на генеральшу. Генеральши – они ведь все толстые, с перманентом, в кольцах на пальцах-сосисках и с глупыми, вылупленными глазами. А мама перманент презирает, это раз. Колец она не носит, потому что это мешает работе – мама хирургическая сестра высокой квалификации, и, разъезжая по стране за дядей Колей, она всегда работала в военных госпиталях. К тому же она стройная, как девушка, а глаза у нее хоть и грустные, но очень красивые: светло-карие, в длинных ресницах, и черты лица тонкие, изящные...

Вот удивительно, вдруг подумал Георгий: женщина, которая стояла сейчас рядом с Федором Лавровым, чем-то напомнила ему маму. Хотя она гораздо моложе мамы: той как раз недавно пятьдесят исполнилось, а этой... Сколько же ей может быть лет?

«Она старше меня, – оценивая ее разглядывал незнакомку Георгий. – Тридцать? Тридцать пять? Ну никак не больше! Какое лицо, ну какое же у нее лицо милое! Вот именно: не просто красивое, но и милое. И глаза прекрасные: серые, ясные, переливчатые какие-то... А волосы вьются. Ух, какая роскошь, какие локоны русые! Как хорошо, что она их не убирает в прическу, а просто собрала в конский хвост. А как потрясающе она одета! Платье вроде бы самое обыкновенное. Ну да, облегчающее, вырез треугольный, ну, рукавчик чуть ниже локтя, ну, платочек шелковый на шее, но вот смотрится... Просто картинка из модного журнала «Силуэт». Как это там такие рукава назывались? Три четверти, вот как! Наверняка все импортное. В наших магазинах такого не найдешь. Небось в Москве по благу куплено... Или на заказ сшито. А вообще-то на такой точеной фигурке любая тряпка смотрелась бы. А какие ножки, какие на них туфельки! В ушках клипсы... кажется, это так называется. Здорово... Потрясная чувиха!» – подумал Георгий, но тотчас сморщил нос: модное словечко к элегантной даме не шло. Вот именно: перед ним стояла никакая не чувиха, даже не просто женщина, а именно – дама. И неважно, что ни в облике ее, ни в фигуре не было ни капли солидности: эта дама явно знала себе цену! Она вся была такая – уверенная в себе и в своей красоте и необыкновенная, необыкновенная...

«Кто она Лаврову? – мучился размышлениями Георгий. – Жену его я знаю: тоже докторша, сухая, как селедка, ухо-горло-нос, лор, значит... И точно, натуральный *лор*: может, она человек хороший, но при взгляде на нее сама собой начинается ангина. А эта на врача не похожа. А на кого она похожа? Как странно – она похожа на журналистку. На журналистку какой-нибудь столичной газеты. Именно столичной, в наших-то такие тетки работают, что смех один их журналистками называть. Типичные буфетчицы. А которые на теток не похожи, те похожи на мужиков: стриженные, да курят, да винище хлещут... Нет, эта – другая. Эта – вообще *другая!* Вот бы познакомиться с ней... Хотя она на такого пацана, как я, и не посмотрит, наверное. Какая несправедливость: взрослые мужчины сплошь и рядом заглядываются на молоденьких девчонок, что считается как бы в порядке вещей, а такие женщины, как эта, нас, парней, которые младше их, и за людей не считают. К тому же она высокая. Кажется, немножко выше меня. И еще каблуки! Она ведь и так высокая, зачем ей каблуки?»

Георгий с досадой приподнялся на цыпочки. Вот ведь свинство: будь он выше на каких-то пять сантиметров, смотрел бы на мир совсем иначе! Главное, не так уж и досаждают Георгию Аксакову его рост в обычной-то жизни, все-таки метр шестьдесят девять – не слишком и мало, даже вполне прилично. Пусть его рост и называется средним, но писать хорошие *матерьяльчики* он никак не мешает, да и с девушками не мешает знакомиться, честное слово. Но вот встречаешь *такую* женщину – и ощущаешь себя недоростком, уродом, вообще неудачником... Что бы такое сделать Георгию, чтобы незнакомка взглянула на него не просто как на пустое место?

– Ну, вот и катафалк, – перебил его отчаянные мысли голос кругленького мужичка в черном костюме, распорядителя похорон. На лице его застыло прилично-скорбное и в то же время деловитое выражение. – Заносим гроб, ребята, давайте по-быстрому. Оркестр!

Грянула музыка. Георгий вздрогнул – раньше не заметил, что возле песочницы притулился небольшой оркестр: четверо мужиков, по виду – те, что играют в кинотеатре «Спутник» или в другом каком-нибудь перед началом сеанса, а то и вовсе в ресторане – лабухи, вот как их называют. Впрочем, на их физиономии тоже надето выражение приличной скорби. Да уж, не «надежды маленький оркестрик», как у любимого Окуджавы, а совсем наоборот – полная безнадега! А вот и «ребята» вышли из толпы, чтобы поднять гроб. На наемных не похожи: наверное, коллеги Вознесенского, врачи, на их лицах печаль не наигранная – искренняя. Оркестр надсаживался, «ребята» пристраивались, чтобы поднять гроб поудобнее.

«Ту-104» – самый лучший самолет, – мысленно подпевал Георгий в такт звукам похоронного марша. – «Ту-104» никогда не подведет! Самый он хороший, самый он красивый... «Ту-104» – отличный самолет...»

Ужасно, цинично, но что поделаешь: после нескольких, подряд случившихся, аварий «Ту-104» и гибели множества людей какой-то умник приклеил незамысловатый текст к известному отрывку из Второй, си-минор, сонаты Фредерика Шопена, ставшему известным во всем мире похоронным маршем... Георгий не сам такой умный – точное название произведения композитора Верунька ему сказала, сестрица сводная, которая окончила музыкальную школу (а заодно и художественную, талантливая такая девочка!). А он в ответ открыл сестре новое название старой мелодии Шопена: «Марш «Ту-104».

Музыка стихла, и в уши врезался женский крик:

– Сыночек! Где ты, сыночек мой?

Мгновенно оторопев, Георгий увидел, как одна из женщин в черном, которая только что стояла скорбно в сторонке, вдруг бросилась к гробу Олега Вознесенского. Мелькнула мысль: «Неужели его мать вдруг нашлась?» Мелькнула – и пропала, потому что и другие женщины, одетые в черное, кинулись вслед за первой к гробу, причитая на разные голоса:

– Ой, доченька моя, Машенька, родненькая, красавица моя!

– Сыночек мой, Витенька!

– Саня, Санечка, на кого ж ты меня покинул, ненаглядный!

– Вася, где ты, где ты, видишь ли меня, слышишь ли?

– Танюша, ох, Танюша, вернись! Ох, Господи, за что, за что? Прибери ты меня, что ж я-то живу, а она...

Георгий ошеломленно оглядывался. От криков звенело в ушах. Казалось, что одновременно с Олегом Вознесенским хоронят и других людей: какую-то Машу, и неведомую Таню, и Виктора, и Василия, и Александра... Но кто они? Почему их так страшно оплакивают? Женщины подбегали к гробу и бросали туда какие-то черно-белые бумажные прямоугольники. Один листок скользнул на землю, подлетел почти под ноги Георгию. Тот машинально поднял. Фотография! На снимке светловолосая девушка, очень хорошенькая, веселая. Кто она, эта девушка? Зачем было бросать ее портрет в гроб Олега Вознесенского? В гробу лежит мертвый, а у нее улыбка полна такой жизни, такого света! И вообще, зачем бросать другие фотографии?

Георгий недоумевающе вертел снимок в руках. Одна из женщин в черном подскочила к нему, вырвала портрет, снова подбежала к гробу, сунула фотографию туда.

«Сумасшедшие они, что ли?» – испуганно подумал Георгий.

– Ну да, они, наверное, помешались от горя, – раздался рядом мужской голос, и Георгий не сразу сообразил, что заговорил вслух, а ему ответил оказавшийся рядом Федор Федорович Лавров. – Вы, наверное, не знаете, что в том пожаре, который случился в вагончике, где жила бригада Олега Вознесенского, погибли все его товарищи, которые вместе с ним приехали из Энска, тоже бывшие студенты-медики, ему одному чудом удалось спастись и выжить. Но разве это жизнь была? Изуродованный, с надорванным сердцем... У него были страшные припадки, как он целых десять лет протянул – неизвестно. Мы вместе работали, я-то знал: он считал себя

виноватым, хотя не был виноват, пожар случился по вине другого человека, парторга бригады. Но совесть у Олега такая была, что в конце концов свела его в могилу.

– Но как же, почему же... – оторопело пробормотал Георгий, оглядываясь на Лаврова.

– Понимаете, Олег винил себя в том, что сманил ребят из Энска. Как бы привел их на гибель, а сам жив остался, – пояснил Лавров, но Георгий мотнул головой:

– Да нет, я не о том! Ведь Вознесенский пострадал при степном пожаре...

– Именно так в газетах и пишут, – кивнул Лавров, глядя на Георгия сверху вниз (он был очень высокого роста).

– В газетах? – глупо переспросил Георгий. – Ну да, так и пишут. Только я никогда не читал про то, что там другие погибли...

– Погибли, – вздохнул Лавров, – и навеки остались в деревне Алаевка, которая теперь зовется колхозом имени Буденного, в Кустанайской степи. Там их братская могила, всех этих ребят, матерям которых не позволили забрать обгорелые тела детей и привезти домой. На похороны-то матерей отправили, но запретили хоть словом об этом обмолвиться. Только слухи по городу ходили, а толком никто ничего не знал. Олегу Вознесенскому тоже приказано было молчать. Вот теперь женщины своих детей словно бы вновь хоронят – вместе с Олегом, с комсоргом их.

– Что же там случилось?

– Ребята жили в вагончиках, спали на двухъярусных нарах. По бригадам: энские в одном вагончике, калининские – в другом, москвичи – в третьем... Жилья нормального для них не приготовили, а строить самим – времени не было: страда, торопились урожай собрать, потом распахать землю под озимые. Внезапно грянул мороз, в вагончиках поставили железные печки, но дрова не завезли. Да и откуда дрова в степи? Топили соломой, политой соляркой. Ночью парторг бригады проснулся от холода – печка погасла. Вышел за соляркой. Рядом с вагончиком стояли бочки горючего для машин, тракторов, комбайнов. В темноте, спросонья парторг перепутал бочки и набрал ведро бензина, а не солярки. Тут проснулся Олег. Сунул в печь соломы, зажег, зачерпнул консервной банкой из ведра, начал лить в верхнюю конфорку печи – и только тут понял, что это бензин. Но было уже поздно – пламя ударило в него столбом. Проснулись спящие люди, кто-то крикнул: «Горим!» С верхних нар спрыгнули спавшие там парни, один из них задел ведро с бензином. Вагончик мгновенно охватило огнем. Взрывом Олега выбросило через окно на улицу, парторг в горящей одежде вывалился вслед за ним. Больше не смог выбраться никто. Парторг умер от ожогов, Олег выжил, но...

Лавров умолк.

Георгий зажмурился. Лавров говорил быстро, рассказ его длился какую-то минуту, но Георгий измучился, будто его час пытали. Вот ужас! Поверить в такое невозможно!

Он открыл глаза и с надеждой уставился на Лаврова: вдруг тот подшутил? Хотя кем же надо быть, чтобы такими вещами шутить, да еще на похоронах...

В глазах Лаврова не было ни тени улыбки, только жалость. Почему? За что он жалел Георгия? И, что самое обидное, с таким же выражением смотрела на него та красивая дама, спутница Лаврова.

– Вам трудно поверить? – участливо проговорила она. – Вернее, не хочется? Да, конечно... Я понимаю.

У нее был очень приятный, мягкий голос. И странный какой-то... Почему он кажется странным? Ага, понятно, в нем слегка слышен иностранный акцент.

Она иностранка? Француженка? Ведь только француженка может выглядеть столь элегантно, как во всех романах написано. Стоп, ребята! А что делать иностранке на похоронах обыкновенного русского доктора? Может быть, это какие-то происки – такие разговоры? И то, что их заводит Лавров... Странно, подозрительно! Может быть, не зря его держали после возвращения из-за границы там, где держали? Понабрался на Западе всякого буржуазного идео-

логического барахла, вот и порочит одно из величайших завоеваний социализма – покорение целины...

Врет, наверное, про пожар. Да, конечно, вранье!

А красавица наверняка шпионка.

Георгий угрюмо отвернулся. Хватит тут стоять, болтать с ними и слушать невесть что! У него конкретное редакционное задание, описывать провокационные выходки врагов – не его дело.

И вдруг...

Они как из-под земли выскочили! Будто караулили!

А что, наверное, и впрямь караулили... Не под землей, конечно. Вон там, за серой стеной сараев, синее «газик» милицейский. Там они и сидели, выжидая своего часа. Значит, догадывались: может случиться что-то *этакое*.

Тогда что? Получается, то, о чем кричат женщины, о чем говорил Лавров, – правда?! Но в это же нельзя поверить...

Какой скандал! На похоронах... Как же теперь быть? Про это тоже придется написать? Или сделать вид, будто ничего не произошло? Но ведь десять лет все и делали вид, будто ничего не произошло!

Георгий растерянно водил глазами по сторонам. Во дворе творилось что-то ужасное. Милиционеры отгоняли женщин от гроба, вытаскивали из него фотографии, рвали в клочки... Мать светловолосой девушки, увидев ее фотографию разорванной, закричала страшным голосом и кинулась на милиционера. Ей мигом выкрутили руки назад и потащили к «газику».

– Стойте! – в один голос закричали Георгий, Лавров и «шпионка». – Оставьте ее, не троньте! Как вы можете!

К ним мигом подлетел яростный, разгоряченный «битвой» лейтенант в съехавшей набок фуражке:

– А ну-ка, пройдите к машине! Предъявите документы! Немедленно!

– Так нам идти к машине или документы предъявлять? – спокойно спросил Лавров.

Георгий, как ни был перепуган (все-таки милиция, а он чуть ли не с молоком матери выпитал и отвращение, и почтение к властям), невольно усмехнулся.

– Ишь, умные какие! Ничего, скоро эта усмешечка с вашей физиономии слетит, – пробормотал лейтенант, поправляя фуражку. – К машине! Ну!

– Вы не имеете права, – быстро сказала женщина. – Вы не имеете права нас задерживать. И мучить несчастных матерей – тоже!

– Да кто их мучает? Беспорядков устраивать не дадим! Нашлась тоже законница... – буркнул лейтенант, хватая ее за руку и таща к сараям, за которыми синел «газик».

– Мне больно, пустите! – вскрикнула она.

– Ничего, не помрешь! Я тебе такие права покажу, что...

Он не договорил. С Георгием вдруг что-то произошло. Стоило ему услышать вскрик женщины, увидеть ее лицо, искаженное болью, как его словно захлестнуло лютой, необоримой ненавистью. Он возненавидел этого «милтона» – возненавидел так, как никого на свете. В его жизни просто не встречались люди, достойные ненависти. Ну, может быть, только к фашистам, виденным в кино, он испытывал такое же отчаянное, почти неодолимое отвращение и желание немедленно убить их, убить всех до единого, своими руками!

– Не смей ее трогать! – закричал он, кинулся на милиционера, оттолкнул его от незнакомки и сшиб наземь.

Вид поверженного, распростертого на земле, ошеломленного до полной неподвижности лейтенанта не отрезвил Георгия. Он ринулся вперед – бить, топтать мерзавца, который осмелился, который...

Кто-то схватил его сзади за локти, да так, что руки онемели. Георгий дернулся, но не смог ослабить мертвую хватку. Обернулся яростно, готовый увидеть какого-нибудь «стража порядка», и глазам не поверил, обнаружив, что держит его Лавров.

– С ума сошел? – прошипел Лавров. – Немедленно успокойся! Нельзя, слышишь! Хуже будет!

Георгий какое-то мгновение смотрел слепыми от ярости глазами, потом слова Лаврова все же достигли его рассудка. Опустил голову. Так... пошел, называется, выполнять задание редакции... Что ж теперь с ним будет?

А вот у лейтенанта, видимо, не имелось никаких сомнений относительно будущего Георгия Аксакова.

– Ну ты у меня попляшешь! – с ненавистью просвистел он, поднимаясь с земли, подбирая фуражку и с силой ударяя ею несколько раз о колено. То ли пыль выбивал, то ли выход своей ярости давал. Нахлобучил фуражку, занес кулак...

Лавров, который по-прежнему держал Георгия за локти, отпрянул вместе с ним и увел от удара.

– Да вы что, товарищ лейтенант? – с возмущением крикнул он. – Прекратите это!

– Ах, вы издеваетесь? – тонко взвыл лейтенант, который уже ничего не слышал и не видел, а понимал только, что жертва ушла из-под верного удара, и принялся лапать кобуру. Португя, впрочем, перекосилась во время падения, и кобура съехала на самый лейтенантский зад.

Лапанье это выглядело нелепо и смешно, но тут уж было не до смеха: рано или поздно лейтенант должен был до кобуры дотянуться, и тогда...

Вдруг какой-то человек в простом сером костюме протолкался сквозь ошеломленную толпу, подскочил к лейтенанту и что-то быстро ему сказал. Тот, словно не слыша, отмахнулся, но человек схватил его за руку (он оказался неожиданно силен, у милиционера даже лицо исказилось – то ли от боли, то ли от удивления) и повернул к себе. Свободной рукой он выдернул из нагрудного кармана какое-то удостоверение – Георгий, конечно, не видел его толком, но что корочки были красные, разглядел.

– Ага, – хмыкнул почему-то Лавров и отпустил наконец Георгия.

Плечи у того болели, но сейчас ему было не до плеч.

Лейтенант сверкал бешено глазами, у него только что пена на губах не выступила, однако с места он больше не сдвинулся.

– Дайте команду отставить все и продолжать похороны, – негромко приказал – именно приказал, такой у него был тон! – человек в сером костюме. – Устроили тут... черт знает что! Уберите своих людей. Женщин этих... – Он покосился на спутницу Лаврова, неприязненно сморщил свое простоватое, неприметное лицо: – Отпустите всех. Слышали меня, товарищ лейтенант? Ваша миссия закончена. Вас поставили порядок охранять, вот вы его и... охранили.

Женщина с серыми глазами отчетливо усмехнулась, лейтенант снова начал косить налившим кровью оком, как бешеный бык, но сдержался и пошел уводить своих милиционеров, которые, впрочем, уже и сами угомонились: никого больше не хватало, рук никому не выкручивали – просто стояли около гроба, будто в странном почетном карауле. Наверное, со стороны могло показаться, будто хоронят не врача, а какого-нибудь милицейского начальника.

Фырча мотором, из-за угла дома показался катафалк похоронного бюро – старенький автобус «ГАЗ-30» с черной полосой по боку. Открыли заднюю дверцу, начали ставить в катафалк гроб. Оркестр, словно спохватившись, заиграл снова про «Ту-104», несколько, впрочем, спеша и фальшивя.

– Спасибо, – сдержанно произнес Лавров, обращаясь к мужчине в сером костюме. – Вот уж не думал, что смогу сказать спасибо представителю вашей службы, но в данном случае вы появились вовремя. Предвидели осложнения? Или просто следили?

Женщина снова усмехнулась.

У «спасителя» желваки по щекам прокатились, но голос звучал спокойно:

– Если вы собираетесь ехать на кладбище, лучше садитесь в автобус.

– А вы тоже поедете? – спросил Лавров с непроницаемым выражением лица.

– Еще не решил, – пожал плечами мужчина.

– Понятно... – Лавров и незнакомка быстро переглянулись, потом доктор сказал: – Я, к сожалению, поехать не смогу. Мне нужно вернуться в отделение, работы много. А вы, Рита?

У Георгия на миг перехватило дыхание. Рита, ее зовут Рита... Маргарита, значит? Ему не нравилось это помпезное имя. Она не Маргарита, она именно Рита. Но разве во Франции, или откуда она там приехала, существует такое имя? Там ведь все Жанны, или Мари, или Симоны, или, как их, Милен... Воспоминание о прежнем идеале красоты, Милен Демонжо, скользнуло мимо сознания, не задев. Да ну ее, худосочную блондинку с порочным взглядом, нет в ней ничего красивого. И ее имя больше Георгию не нравится. Рита, Рита...

– Я не могу ехать одна, – сказала тем временем Рита. – Может быть, вы...

Она с надеждой взглянула на Георгия, и тот вовсе перестал дышать.

Человек в сером костюме шагнул вперед. Его лицо приняло обеспокоенное выражение.

Лавров кашлянул. Рита быстро оглянулась на него, потом перевела взгляд на «спасителя» и кивнула, словно что-то поняв.

– Я вернусь в отель, Федор, – сказала она Лаврову.

«Отель! Это ж надо, а? Где ж она в Энске *отель* выискала? – потрясенно подумал Георгий. – А почему она так хорошо по-русски говорит? Переводчица, что ли?»

На лице «спасителя» после ответа Риты выразилось явное облегчение. Он повернулся к Георгию:

– А вы, товарищ Аксаков, на кладбище ехать намерены?

«Он меня знает? – изумился Георгий. – А впрочем, говорят, в Конторе Глубокого Бурения³ всё про всех знают...»

Не составляло труда понять, кто он такой, этот неприметный тип. Красные корочки, влиятельность, всезнайство... Ну да, ведь за всеми иностранцами следят, понятное дело. Чтобы не начали тут пропагандировать и внедрять свой тлетворный образ жизни. Они ведь коварные, иностранцы: приезжают под видом туристов, а сами знай норовят выведать какую-нибудь государственную тайну. Только недавно в газетах писали, как в Энске ловили шпионов во время Великой Отечественной войны. Интервью давал генерал-майор Храмов, который в то время был подполковником и руководил операцией «Проводник» – по радиоигре с разведшколой гитлеровцев, заславшей в Энск свою агентуру. Столько врагов разоблачили! Некоторые из них умудрились даже в военном госпитале окопаться под видом шоферов или раненых. Георгий пристал к маме с расспросами – она ведь в войну работала там санитаркой, – но мама сухо сказала, что ничего не знает, однако газету с интервью Храмова спрятала. Потом баба Саша искала ее, чтобы почитать, но газета исчезла.

– Игорек, – как обычно, путая имя, спросила баба Саша, – ты не видал «Энского рабочего»? А ты, Оля, не видела?

– Наверное, выбросил кто-то, – беспечно сказала мама, но Георгий знал, что она спрятала газету в шкаф, который стоял в их с отчимом спальне.

Он только вздохнул тогда. В прошлом их семьи было столько загадок... У бабы Саши и бабы Любы – свои, у мамы – свои, у отчима – свои. Но никто не собирался эти секреты открывать детям, Георгий и Верунька жили, ничего о прошлом не ведая. Может, оно и хорошо – не обременять детей ничем тяжелым и страшным, – но Георгию хотелось знать все. Ему вообще нравилось думать о бабках своих, о дедах, об их жизни, о жизни маминой... Ему ста-

³ Общепринятый в описываемое время эвфемизм, аббревиатура которого соответствовала аббревиатуре известного учреждения. (Прим. автора.)

новилося как-то спокойней от этих размышлений. Когда о прошлом ничего не знаешь, кажется, за твоей спиной веет ветер ледяной пустыни, а когда чувствуешь позади тылы, охраняемые предками, – жить теплее. Честное слово! Вообще уверенней себя чувствуешь, когда можешь мысленно оглянуться – и посмотреть в их сочувствующие, любящие глаза, как бы говорящие: «Мы с тобой! Ты не один!»

А впрочем, что-то он сейчас не о том задумался. «Спаситель» по-прежнему смотрит на него выжидающе, и Лавров уставился удивленно, и Рита... Она тоже на него смотрит, да как!

Что происходит, товарищи? Что произошло в то краткое мгновение, пока он отвлекся на свои размышления?

– Аксаков? – прищурился Лавров. – Ваша фамилия – Аксаков? Извините, вы... вы кем работаете?

Заминка в его вопросе была почти незаметна, однако Григорий все же заметил ее и понял: Лавров хотел сказать что-то другое. Интересно, отчего их с Ритой так заинтересовала его фамилия? Спросить бы, но, наверное, не стоит, пока их обоих так и стрижет глазами «бурильщик» в сером костюме. Ясно же, что Лавров ничего не скажет!

– Я заканчиваю журфак, – скромно сообщил Георгий. – Сейчас на практике в редакции «Энского рабочего».

– А, так вы здесь по заданию редакции? – сообразил Лавров.

– Да, мне поручено написать материал об Олеге Вознесенском, вернее, о том, как прошли похороны.

– Ну что ж, думаю, вы тут узнали кое-что интересное для себя, – сказал Лавров. – И если поедете на кладбище, еще многое узнаете. Надеюсь, вы сможете все это описать точно и ярко.

«Бурильщик» покосился на Георгия и тотчас отвел глаза, но взгляд его был весьма выразителен.

«Пиши, пиши, практикант! – читалось в нем. – Написать ты можешь все, что угодно, но напечатают ли твою писанину – большой вопрос!»

Георгий мысленно вздохнул. Мало того что Полозков бдит, над ним ведь есть еще редактор, а над редактором – учреждение под названием Главлит. Вот уж мимо кого ни птица не пролетит, ни рыба не проплывет, ни зверь не прорыскнет! Придиры там сидят – не дай Господь. В каждой строчке видят идеологический просчет. Не далее как вчера Георгий своими ушами слышал, как заведомо культуры и литературы объяснял местной поэтессе, почему ее стихотворение напечатано с купюрами:

– У вас там фраза была: «Все меньше в жизни дружбы, все больше пустоты». Помните?

– Конечно, помню! – обиженно простонала поэтесса. – Почему ее убрали?

– Цензор Главлита велел, – вздохнул заведомо. – Сказал, что нельзя такую строку оставлять, ведь могут подумать, что в нашей стране, в жизни наших людей «все меньше дружбы, все больше пустоты». Ну и все такое...

– Да кто же может подумать? Кого они все боятся, в вашем Главлите? – взывала отчаянно поэтесса. Но взывала напрасно: заведомо только плечами пожимал да руками разводил, а еще возводил очи горе, словно намекая: там, наверху, виднее...

Конечно, цензоры не пропустят и намек на целинную трагедию. Но это их дело. А дело Георгия – описать все, что он узнал сегодня. И что узнает на кладбище.

– Товарищи, кто еще едет? – громогласно спросил распорядитель похорон.

Георгий обнаружил, что двор почти опустел: гроб занесли в катафалк, знакомые Вознесенского, собиравшиеся проводить его до конца земного пути, сели в два автобуса, соседи, явившиеся только к выносу, возвращались в свои подъезды. Автобусы уже фырчали моторами, ужасно чадя. Рита сморщила нос, смешно замахала рукой перед лицом, разгоняя бензиновую гарь.

«Можно подумать, у них там, в заграницах, автобусы не чадят! – вдруг обиделся Георгий. – Да во всех газетах пишут о том, как вредные промышленные выбросы портят тамошнюю природу».

Распорядитель похорон забрался в автобус и махнул шоферу:

– Вроде все. Отправляемся!

– Погодите! – спохватился Георгий. – Я тоже еду!

Он кинулся к дверце, вскочил на подножку, обернулся: Лавров и Рита смотрели ему вслед. «Серый костюм» торопливо вышагивал к серой же «Волге», доселе стоявшей у крайнего подъезда.

«Я забыл проститься с Лавровым и с ней! – ужаснулся Георгий. – Что она обо мне, невеже, увальне энском, подумает? Вот деревня, скажет!»

И такая тоска его взяла, что он чуть не кинулся вон из автобуса, плюнув на задание редакции. Но тут дверцы сомкнулись прямо перед его носом, как будто для водителя успешная практика студента Георгия Аксакова имела значение куда большее, чем для самого вышеназванного студента. И автобус тронулся.

Георгий успел увидеть, как Рита, пожав плечами, повернулась к Лаврову, взяла его под руку и вместе с ним пошла со двора.

«Что она обо мне подумает? – мысленно повторил он со странным, злобным чувством, которого прежде не испытывал. – Да она завтра даже не вспомнит обо мне! Да она забудет обо мне уже через минуту! Самое большее – через пять минут!»

Георгий опустил глаза, чтобы не видеть никого. Он ненавидел сейчас Лаврова, которого Рита взяла под руку. Почему? Называлось это чувство ревностью, но Георгий очень удивился бы, если бы узнал, что он, оказывается, ревнует незнакомую женщину к почти незнакомому человеку. Нет, ну в самом деле, вот глупость, а?

1940 год

«Для Татьяны Ле Буа, 12, рю де ля Мадлен, Париж

Мадам, не удивляйтесь тому, что это письмо без подписи, и не считайте его пошлой анонимкой. Вы не знаете меня, мое имя ничего Вам не скажет, а в случае, если оно попадет в чужие руки, могут выйти неприятности и Вам, и мне. Поэтому я останусь для Вас неизвестным. И все же прошу дочитать письмо до конца и поверить каждому моему слову. Единственной рекомендацией мне может быть то, что Ваш адрес я получил от одного человека. Не знаю, кто Вы ему, он не успел мне объяснить, но, уж коли он хранил Ваш адрес, это кое о чем говорит... Имени я его не знаю, знаю только, что он русский. Я и сам русский, и то, что мы с ним встретились, принадлежит к числу тех неисповедимых случайностей, на которые столь щедро война. Ведь она, подобно урагану, сметает все на своем пути, и жалкие песчинки – судьбы человеческие – в ее вихре смешиваются, на мгновение касаются друг друга и вновь разлетаются. Так пересеклись на миг и наши судьбы.

Нетрудно догадаться, что русский во Франции – значит, эмигрант. Нас много здесь. Моя жена (она бежала из Петрограда зимой 18-го года по льду Финского залива), наши общие друзья (уходили из Крыма на последних кораблях, пережили все ужасы «Галлиполийского сидения»)... Многие русские эмигранты давно были мобилизованы в армию – меня и моего друга не взяли по состоянию здоровья. Мы уехали из Парижа 20 мая 1940 года, опасаясь, что немцы, как только возьмут Париж, сразу вывезут русских в концентрационный лагерь. Мы отправились с семьями в Шабри, где загодя сговорились снять дом на лето. Надеялись пересидеть самое суматошное время начала оккупации, а вышло, что угодили как кур в ошип.

Мы выехали в половине пятого утра на Орлеанское шоссе. Сперва все шло отлично, но потом жандармы⁴ начали заставлять сворачивать на объездные дороги, хотя шоссе ранним утром казалось почти пустым. Но наконец мы поняли почему: перед нами по правой стороне дороги потянулась бесконечная вереница грязных машин, тяжелых повозок, грузовиков, набитых чумазами от пыли, изможденными людьми. А еще шли пешком десятки, сотни людей, ехали коляски, повозки с инвалидами... Одно время мы ехали рядом с бельгийским грузовиком, который вез тридцать девочек лет десяти-двенадцати, в белых платьях и белых вуалях, с венчиками на голове. Оказалось, они из бельгийского города Монс. Немцы уж входили в город, а кюре успел всех детей прямо из церкви, где проходило первое причастие, увезти. Паника была страшная... Мы сперва громко удивлялись, показывали друг другу машины – эта из Голландии, а эта из Бельгии, но потом замолкли. Зрелище было неожиданное, пугающее. Ведь столько людей уже несколько дней (так близко от Парижа!) шли, брели, ехали, а мы ничего не знали.

Захотелось вернуться в Париж, но Шабри был уже ближе. Мы вошли в прекрасный, просторный дом на самом краю села, почувствовав несказанный покой. Кто знал, что Шабри станет местом последнего сражения, данного армией генерала Вейгана незадолго до перемирия в Монтуре! Мы очутились рядом с последним оплотом французской армии на пути бошей.

Бесконечное количество беглецов прошло в те дни через Шабри. Много было солдат, пробиравшихся в одиночку или по двое-трое, – пыльных, усталых, голодных, с несчастными лицами. Они боялись всех, ведь их все бросили, начальство их либо удрало на машинах, либо оказалось уже в плену.

Как-то в сильную жару четверо чумазных рядовых сели в овражке перед нашим домом передохнуть. Жена моя вышла и спросила их, не хотят ли они пить. Затем вынесла им сперва воды, а потом и горячего кофе с белым хлебом. Из соседних домов выглядывали жители

⁴ Французская жандармерия – полевая полиция, действует в сельской местности. (Прим. автора.)

Шабри, потом к нам стали подходить, принесли еду. Постепенно образовалась целая толпа. Солдаты вслух, не стесняясь, кляли начальство, англичан, немцев – всех на свете! Какой-то старик, ветеран прошлой войны, начал их жестко упрекать, страсти разгорелись. Моя жена быстренько забрала кофейник и чашки, попрощалась со всеми и ушла в дом, а я остался.

– На войне всякое бывает, – сказал один из солдат, на вид лет пятидесяти. Он был довольно высокий, полуседой и сильно прихрамывал. Одежда на нем была полувоенная: обыкновенные, цивильные брюки и ботинки, но френч, сильно просторный для его худого тела, и форменное кепи. При нем имелась винтовка без штыка, а на шее висел «шмайссер». – То наступаешь, то отступаешь. Если вы, мсье, воевали, должны были это запомнить. И первое дело на войне – дисциплина. Если начальством солдату дан приказ отходить – что ему остается делать?

Ветеран успокоился, закивал согласно, ступевался.

Я, нахмурясь, слушал хромого. У него был странный выговор – некое дуновение акцента в нем чувствовалось.

– Вы русский, что ли? – догадался вдруг я.

Его глаза – большие, серо-зеленые глаза – так и вспыхнули:

– Да.

– Я тоже, – сказал я. – Вы откуда?

Я имел в виду – из какого он города, но его ответ был краток:

– Из России.

Ясно, он не хотел о себе говорить. Ну что ж, его дело. Да и правда, не время для светских любезностей!

– Ранены? – спросил я. – Может быть, ногу перевязать? Видно, что вам трудно идти.

– Ну, моя рана зажила почти двадцать пять лет назад, – усмехнулся он. – Это память о боях в Галиции. Я, как и тот мсье, уже воевал с бошами – с четырнадцатого года по семнадцатый.

– Возраст у вас непризывной. Мне сорок, а вы даже постарше... – неопределенно сказал я. – И рана у вас старая... Неужели вы в армии?

Он пожал плечами и стал объяснять:

– Я жил почти три года в Бургундии, в Муляне. Работал у одного винодела. Вдруг слухи о войне. К хозяину приезжает сосед, тоже винодел, ухмыляется. Ничего, говорит, мы с Германией торгуем испокон веков, войны проходят, а торговля остается. Коллекционные вина, дорогие лозы, уникальные наши земли – это мировое достояние, война Франции и Германии тут совершенно ни при чем. Так он сказал. Может, он и прав, но мне на их коллекционные вина плюнуть и растереть. Война есть война! Попросил я расчет и подался к Парижу. Там у меня семья. То есть бывшая семья. Я сам от них ушел... так нужно было. – Тут хромой замаялся. – Вообще меня мертвым считают, наверное. Я не мешал им жить, а теперь беспокойство одолело. Ну и пошел я. По пути вот пристал к этому отряду. Кепи и оружие на обочине подобрал, френч подарил мне каптенармус, которому я починил велосипед...

– Пора двигать дальше, – задумчиво пробормотал один из солдат. – Только винтовки придется бросить, патронов все равно нет.

– Патронов нет, это правда, – кивнул хромой. – Но все же – как без оружия?

– Да ну, лишняя тяжесть! – сказал тот же солдат. – Тебе винтовка вместо палки сгодится, а нам зачем...

Хромой оценил неуклюжий юмор беглой улыбкой:

– Ладно, винтовку можно бросить, обойдусь без палки. А «шмайссер» жалко. Еще у меня в кармане револьвер. Он мне когда-то от погибшего товарища достался. Выручит и теперь в случае чего.

– Надо в обход дорог идти, тогда никакого случая не будет, – буркнул солдат, призывавший бросить винтовки, и остатки бравой французской армии побрели через просторный выгон к дороге.

– Как ваша фамилия? – крикнул я вслед по-русски.

Хромой обернулся, покачал головой, блеснул глазами – и больше не оглядывался. Я пошел в дом со странным ощущением, что мы еще увидимся с ним.

Так и случилось – буквально через несколько дней. Вернее, я его увидел, а он меня – нет...

То, что немецкая армия скоро появится и в Шабри, становилось все яснее, и числа 15–16 июня настроение стало совсем тревожным.

Наступило 18 июня. Париж был уже занят немцами, их войска безудержно стремились к югу и западу от столицы. В тот знаменательный день, часов около пяти, генерал де Голль произнес свой знаменитый призыв к сопротивлению, Résistance, и продолжению войны вне территории Франции. Я не поверил собственным ушам: никому не известный генерал призывал из Лондона продолжать борьбу – Франция, мол, проиграла лишь одно сражение, а не войну. Он призывал всех офицеров, солдат, военных инженеров, летчиков и моряков присоединиться к нему и вступать в ряды войск Свободной Франции, France Libre. И уже через два часа будет открыта запись по такому-то адресу в Лондоне! Он закончил словами: «Vive la France!»

Мы себе места не находили после этой передачи. Едва уснули. А утром, около восьми часов, нас разбудила артиллерия – начался бой за переправу через реку Шэр. Снаряды падали все чаще. Им отвечали танки. Откуда они взялись там? Потом мы узнали, что вечером со стороны Шабри заняли позицию четыре небольших танка и около двадцати солдат – их командир, лейтенант, был человек решительный и спокойный, уверенный в том, что он обязан продолжать сражаться против немцев, сколько бы их на той стороне реки ни было.

Наступило затишье в перестрелке, наши семьи были вне себя от страха, и мы последовали примеру населения Шабри: переползли-перебежали в небольшой лесок. И вовремя: перестрелка снова началась.

Немцы выпустили по Шабри более двухсот снарядов. Четыре танка, защищавшие мост через Шэр, и их начальник отступили от Шабри к югу, по направлению к замку Валансэ. Снарядов больше не было, вот и решили отходить. Но кто-то должен был прикрывать отступление. Вызвался один солдат. Он дал своим время скрыться, а когда подошли немецкие броневики, открыл по ним огонь – и был убит.

Бой закончился, обстрел прекратился, все вернулись домой.

Старик-сосед, ветеран мировой войны, постучал ко мне среди ночи вне себя от возбуждения. Оказывается, он и его сыновья в темноте прокрались к месту гибели того солдата.

– Это был хромой! Ваш, русский! – твердил сосед. – Он стрелял из своего «шмайссера». Ни одного патрона не осталось. Он там лежит, весь изрешеченный. Боши своих убитых подобрали, а его бросили. Надо бы его похоронить, а?

Я немедля оделся и пошел с ними. У нас были потайные фонари, с какими крестьяне ходят ночью в погреб.

Нашли тело, постояли над ним. Да, это был он. Хромой. Значит, он не ушел с теми солдатами, которые бросили оружие. Значит, вернулся и сражался вместе с французами, сопротивлялся бошам до конца жизни. Слышал ли он призыв де Голля? Или поступил так, повинувшись велению души? Теперь уже никто не узнает.

Ни его «шмайссера», ни револьвера, о котором он говорил, рядом не было. Конечно, забрали боши... Но забрали у мертвого, а не у живого!

Я смотрел на него, направив свет фонаря. И вдруг увидел, что под изорванным пулями френчем что-то белеет. Оказалось, книга. Вернее, брошюрка. Тоненький сборничек стихов,

изданный в Париже. Автор – поэт Георгий Адамович. Ну что ж, в наших кругах – имя известное. Я и сам прежде читал его стихи, очень их любил.

Я перелистал книжечку и нашел среди страниц листок. На нем было написано: «Меня зовут Дмитрий Аксаков. В случае моей смерти прошу сообщить в Париж, мадам Татьяне Ле Буа, по адресу: 12, рю де ля Мадлен».

Я взял книгу и записку себе и мысленно поклялся исполнить его просьбу. Мы зарыли тело и сделали отметку на том месте. Старик обещал смотреть за могилой.

Надо думать, он держит слово. Я тоже держу свое.

Много я видел героев, мадам, я ведь успел повоевать, хоть был тогда, в Гражданскую, совсем мальчишкой. Наверное, кое-что еще мне предстоит увидеть – ведь многие отозвались на призыв де Голля к Résistance. Но среди этих героев – известных и неизвестных, настоящих и будущих – незабываемым останется для меня подвиг русского солдата Дмитрия Аксакова, который погиб за свободную Францию.

Возможно, мне следовало бы переслать Вам и книгу, в которой лежала записка. Но, во-первых, я не убежден, что письмо мое до Вас дойдет, а во-вторых, не знаю, имеет ли она для Вас какое-то значение. Для меня же она теперь священна. Как прощальный дар товарища по оружию, понимаете? Если когда-нибудь судьба нас с Вами сведет, я передам Вам ее. Ну а пока всего лишь переписываю для Вас то стихотворение, которое было заложено последней запиской Аксакова. Книга, повторяю, пулями продырявлена, но я эти стихи и без подсказки знаю – так же, как многие из нас, многие русские:

Когда мы в Россию вернемся... о Гамлет восточный, когда? —
Пешком, по размытым дорогам, в стоградусные холода,
Без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов, пешком,
Но только наверное знать бы, что вовремя мы добредем...

Больница. Когда мы в Россию... колышется счастье в бреду,
Как будто «Коль славен» играют в каком-то приморском саду,
Как будто сквозь белые стены, в морозной предутренней мгле
Колышутся тонкие свечи в морозном и спящем Кремле.

Когда мы... довольно, довольно. Он болен, измучен и наг,
Над нами трехцветным позором полощется нищенский флаг,

И слишком здесь пахнет эфиром, и душно, и слишком тепло.
Когда мы в Россию вернемся... но снегом ее замело.

Пора собираться. Светает. Пора бы и трогаться в путь.
Две медных монеты на веки. Скрещенные руки на грудь.

Прощайте, мадам Ле Буа. Ваш безымянный друг».

1965 год

– Слушай, Гошка, как ты думаешь, они там в самом деле...

Лёша Колобов нерешительно умолк.

– Что – они? Что – в самом деле? – раздраженно спросил Георгий: он терпеть не мог, когда его называли Гошкой.

В Энске так звали всех Георгиев, Егоров и Игорей подряд, но он уже в детстве «собачью кличку» не выносил и в конце концов избрал очень простой способ довести это до сведения всех родственников и знакомых: перестал на «Гошу» и «Гошку», а также на «Гошеньку» отзывать. Правда, тут же он понял, что нагнал на себя новые хлопоты. Сосед снизу, Северьян Прокопьевич, начал звать его Геркой. Тоже кошмар, но ладно, как-то можно было пережить, а вот Гогу или Жору – нет и нет! Мысленно Георгий поругивал маму, которая выбрала для него такое неудобное имя. В честь родного отца, понятно, а все же... Да нет, имя-то как раз было красивое и, главное, довольно редкое, не затертое, как всякие там Саши или Лёши, но уменьшительной формы-то для него путной не подберешь, хоть голову сломай.

Немалое время прошло, прежде чем окружающие усвоили, что Аксаков отзывается только на имя Георгий, а всего остального просто не слышит. Пока это время проходило, его гораздо чаще звали по фамилии, против чего Георгий совершенно не возражал. Фамилия ему нравилась. «Гошкой» его теперь называли только недавние знакомые, не успевшие усвоить его принципиальной позиции по данному вопросу, или совсем уж тупые ребята, вроде Колобова. Сущее «тенито», как называли мямлей в Энске. Слово скажет – и тотчас умолкнет, будто сам себя испугается: а то ли сказал? А не лучше ли было смолчать? Георгий Лёшку недолюбливал и только диву давался, как Колобов отважился записаться в группу «Комсомольского прожектора»: ведь активистам иной раз приходилось и с милицией схватываться, а для этого как никак нервишки крепкие нужны. Пусть и не врукопашную, конечно, схватки происходили, а словесно, можно сказать, интеллектом сражались, но все же... А впрочем, Лёшка Колобов первый раз участвовал сегодня в рейде активистов, поэтому некоторую нерешительность и робость ему вполне можно было простить.

– Ты имеешь в виду, правда ли, что те девицы торгуют своим телом за деньги? – усмехнулся Валерка Крамаренко. – Ну да, а как еще? В том-то и есть смысл проституции. Или ты думаешь, они награждают своими прелестями отличников соцсоревнования – и всё задаром?

Георгий вскинул голову, прищурился, подставив лицо ветру. От души надеялся, что никто не заметил, как его бросило в жар. Есть некоторые слова, от которых его не то что коржит или коробит, а как-то... не по себе становится. Чего уж, казалось бы, стыдиться слова «проститутка»? Ленин вон, к примеру, так называл Троцкого в своих статьях – и ничего. А между тем щеки и уши загорелись. Ну да, к Троцкому это слово применимо только в политическом смысле, но когда употребляешь его не в политическом, а в бытовом, невольно сразу представляешь себе, чем «те девицы» конкретно занимаются. И становится очень даже не по себе. За деньги, главное! Противно. Но вот девчонки-малярки из рабочего общежития, к которым в прошлом году однажды привел Георгия Валерка Крамаренко, – они, если по-честному, были кто? Девчонки оказались симпатичные: маленькие ростиком, так что Георгий смотрел на них сверху вниз и чувствовал себя в полном смысле слова на высоте, разбитные и веселые: слово скажешь – они уже заливаются хохотом. Валера и Юрка Станкевич не забыли прихватить две бутылки портвейна: они в общежитии бывали не раз и отлично знали, что нравится девочкам. Георгий купил шоколадных конфет «Ласточка» и «Школьных» – повезло, как раз выбросили, он и в очереди-то почти не стоял, какие-то полчаса не считаются. Сначала Георгий ужасно стеснялся, все три девчонки казались ему на одно лицо, но после пары рюмок портвейна он уже начал немножко ориентироваться в суете, пахнувшей одеколоном «Гвоздика», и даже опре-

делил, что ему больше всех нравится, пожалуй, Зая. И хорошо, потому что Маруся должна была достаться Валере, а Люся – Юрке Станкевичу, ребята заранее предупредили, чтобы Георгий на этих двух чувих и не думал заглядываться, а вот, мол, Зая – его.

– Вообще-то меня зовут Зоя, – пояснила девчонка между прочим. – Но уж больно суровое имя, меня в школе дразнили Зоей Космодемьянской. Да ну, больно надо!

Георгий считал, что Зоя – очень красивое имя, но ладно, пусть она будет Зая, если ей так хочется... А впрочем, он ни разу ее по имени и не назвал. Кажется, вообще слова ей не сказал. Как-то не до того было! Все случилось очень быстро. Вот они с Заей еще переглядывались через стол, а вот она уже сидит рядом и ее нога прижимается к его ноге, ее бедро – к его бедру, а вот она хохочет и повторяет: «Ну, ты и швыдкий, ну и ну!» Георгий крепко призадумался: «Что такое «швыдкий»?» Но это было неважно, главное, она его ни разу не назвала ни Гошей, ни Гогой, ни Жорой, а то, наверное, он обиделся бы и сплеховал. Но он не сплеховал, хотя и струхнул было, когда Зая вдруг откинулась на спину и потянула его на себя. Вдобавок оказалось, что его рука уже у нее за пазухой и при падении на Заю он руку чуть не вывихнул. «Когда я только успел?» – изумился Георгий, но тут же обо всем забыл, потому что Зая его заблудившуюся руку из-за пазухи вынула и положила себе на живот, на трикотажные трусики. Под ними что-то такое было... непонятное. Понять хотелось, но трусики мешали, Георгий их с Заи стащил, ну а дальше все было «как у людей», хотя удовольствия, если честно, вышло чуть. А слов-то, слов на эту тему сказано и написано...

– Да ладно, не тушуйся, в первый раз так всегда и бывает, – утешил его потом Валерка, когда они тащились домой на последнем трамвае. – Нам еще ничего, а девчонкам вообще худо попервости – им больно, и они орут знаешь как... И кровь идет...

– Да ты что? – почти с ужасом спросил Георгий. – Но Зая не орала, и крови вроде не было. А может, я не заметил?

– Ты что, решил, что девочку имел? – хохотнул Валера. – Да у Заи таких, как ты, было-перебыло! Она, конечно, не шлюха, но давалка еще та. У них в общежитии, такое ощущение, девочек совсем не осталось. Некоторые из деревни уже приезжают готовенькие, а некоторые сразу со здешними парнями начинают валандаться. Вообще девки в таких общежитиях чем хороши? Неприхотливые, цену себе не набивают. Бутылка, конфеты... Никаких кафе или ресторанов, вполне по карману нашему брату студенту. А то ведь со стипендии не слишком-то по ресторанам находишься!

Георгий прикинул расходы. Полкило «Школьных» и полкило «Ласточек» встали ему рубля в три. Стипендия – двадцать восемь. Да, с нее не шибко нашикуешь... Но это сугубо его карманные деньги, дома о них даже и разговора никогда не заходит: отчим считает, что у парня должны водиться свободные деньги. Ну что ж, дядя Коля получает хорошо, даже пенсия у него – ого-го, дай Бог каждому.

– Девчонки, знаешь, бывают двух видов: умные и дуры, – разглагольствовал между тем Валерка Крамаренко. – Умные выпьют, конфет поедят – и сразу в койку, потому что понимают: парень только за тем и пришел, а если начнешь его муржить, он уйдет и завтра «Три семерки» и «Ласточку» отнесет другой. Дуры начинают форс гнуть: мол, только после свадьбы! Или все же согласятся, но после ноют: когда ты на мне женишься, меня мамка убьет... ну и все такое. Главное, знают прекрасно, ну какая может быть женитьба! Прямо-таки парни с радиофака или журфака ходят к маляркам-штукатурщицам, чтобы невесту там себе найти! Ну просто кино «Цирк зажигает огни!» Но все равно болтают всякую чушь. Потому что дуры!

Дуры они или не дуры, а Георгию вдруг стало жалко малярок. До того жалко, что никакой охоты видеть Заю или какую другую девчонку и снова заниматься *этим делом* у него не возникало. Ведь если какая-нибудь из них перед ним расплачется и пожалуется, что ее мамка убьет, он, очень может быть, и разжалобится до того, что... Ну, до свадьбы, наверное, дело не дойдет,

потому что отчим и мама не позволят, а баба Саша вообще умрет от ужаса, но пообещать с жалости Георгий может что угодно. Да и сделать тоже. За ним такое еще в детстве водилось.

– И в кого ты такой мягкий, совершенно без скорлупы? – как-то раз спросила баба Саша, когда он в очередной, несчитанный раз отдал все деньги, которые у него были, дяде Мишке (его никто иначе не называл), инвалиду одноногому. Дядя Мишка был достопримечательностью Мытного рынка. Он то и дело обращался ко всем проходящим мимо молодым людям с почувствованным воплем:

– Да неужто ты меня не узнал(а), сынок (дочка)? Я ж тебе на свет появиться помог!

Люди несведущие при таких его словах столбенели и в ужасе начинали вглядываться в опухшее, красное, заросшее густой седой щетиной лицо дяди Мишки, отыскивая в ней черты фамильного сходства. Однако на самом деле дядя Мишка намекал вовсе не на свое отцовство, а на бывшую свою профессию, – когда он был акушером в первом роддоме Энска, в том, что на углу улиц Фигнер и Воровского. Служил там и задолго до войны, и в войну (на фронт его не брали из-за хромоты). И вот надо же такому случиться: уже в сорок четвертом дядя Мишка страшно поругался с каким-то залетным воякой в высоких чинах, у которого в роддоме рожала любушка. Почему случилась ссора, никому не было ведомо, однако акушер умудрился так оскорбить вояку, что тот распорядился отправить-таки его на фронт. Пусть не в действующую армию, но в санитарный поезд.

– Он же хромой! – заартачился даже военком, которому пришлось исполнять начальственную команду.

– Ничего! – мстительно заявило начальство. – Небось там ему ноги подравняют!

Высокий чин будто в воду глядел. В темную воду... Даже не доехав до фронта, дядя Мишка угодил под бомбежку, и осколками ему оторвало ногу – да не хромую, а здоровую. Он вернулся в Энск, но уже не мог работать, передвигался только на костылях. А вскоре окончательно спился и теперь зарабатывал даже не на жизнь, а лишь на чекушки, либо напоминая о своих родовспомогательных заслугах – выходило, что он «на свет появиться помог» чуть ли не каждому второму жителю Энска! – либо распевая «единственную и любимую песню публики». Она была любимой и единственной просто потому, что другой песни дядя Мишка не знал. По какой-то странной иронии судьбы даже песня была связана с деторождением:

Это было под городом Римом,
Молодой кардинал там служил,
Днем исправно махал он кадилом,
Ночью кровь христианскую пил.

Теплый дождик повеял над Римом,
Кардинал собрался по грибы,
Раз приходит он к римскому папе:
– Папа, папа, меня отпусти...

И сказал кардиналу тот папа:
– Не ходи в Колизей ты гулять,
Я ведь твой незаконный папаша,
Пожалей свою римскую мать!

Кардинал не послушался папу
И пошел в Колизей по грибы,
Там он встретил монашку младую,
И забилося сердце в груди.

Кардинал был хорош сам собою,
И монашку сгубил кардинал...
Но недолго он с ей наслаждался,
В ей под утро сестру он узнал.

Тут порвал кардинал свою рясу,
Он кадило об стенку разбил.
Рано утром ушел с Ватикану
И фашистов на фронте он бил.

Тут приходил черед последних, самых замечательных куплетов, и слабенький голосок дяди Мишки наливался изрядной, хоть и дребезжащей силой:

Дорогие товарищи-братья!
Я и сам был в жестоком бою,
Но фашистская грозная пуля
Оторвала способность мою.

Дорогие товарищи-братья!
Я и сам был в жесто-о-оком бою...
Вас пятнадцать копеек не устроит,
Для меня это – хлеб трудовой...

«Пятнашки» летели в засаленную дяди-Мишкину кепку со всех сторон. Женщины всхлипывали, бывшие фронтовики ухмылялись, но тоже подавали хорошо, пацаны хихикали, услышав про «способность», девчонки смущенно отворачивались, а Георгий чувствовал себя несчастным от жалости к кардиналу, к его сестре, римскому папе – и, конечно, к дяде Мишке, который, не исключено, и в самом деле способствовал его личному появлению на свет. Мама-то рожала именно в первом роддоме!

Георгий ужасно стыдился, что его глаза при виде дяди Мишки делались на мокром месте, но ничего не мог с собой поделать.

– Нашел над чем рыдать! – ворчала баба Саша.

– Можно подумать, ты никогда над песнями не плакала, – обиженно отвечал внук.

– Есть только одна песня на свете, которая заставит меня заплакать, – призналась однажды его суровая бабуля.

– Какая же? – удивился Георгий.

И еще больше удивился, когда баба Саша вдруг тихо-тихо запела:

Ах, зачем эта ночь
Так была хороша!
Не болела бы грудь,
Не страдала б душа...

И замолчала.

– А дальше? – спросил он.

– Не помню, забыла, – сказала баба Саша, и Георгий отчетливо почувствовал, что она врет. Помнит, но не хочет дальше петь. И тут же, словно поняв, что внук догадался о ее лжи,

перешла в наступление, которое, как известно, лучший способ обороны: – И в кого ты такой мягкий, совсем без скорлупы? Mamочка твоя куда крепче тебя будет!

– Значит, я не в мамочку, а в папочку, – буркнул Георгий.

– Ну, беда, коли так, – сухо ответила баба Саша. – Не довелось познакомиться, о чем искренне сожалею...

Ах, не знала, не знала Александра Константиновна, что с папочкой его она была знакома, виделась с ним, пусть и единожды, но все ж таки виделась... Не знала, да и ну что ж, оно и к лучшему, ведь чего не знаешь, то не болит!

– Беда, коли и он был такой же, – насмешливо продолжала она. – С нетерпением сердца.

– Это как? – удивился Георгий.

– Это роман такой есть у Стефана Цвейга, – пояснила баба Саша, которая, такое впечатление, читала все на свете книги. – «Ungeduld des Herzens», «Нетерпение сердца». Про жалостливых людей.

– Вроде меня, что ли? – подозрительно спросил Георгий.

– Вот-вот, вроде тебя. Про таких, которые с жалости невесть чего готовы наобещать, а как до дела дойдет... Нет, они, может, обещания и не нарушат, да только счастья от того никому не будет, ни им, ни кому-то другому!

Да уж, кому бы могло быть счастье, если бы Георгий женился на какой-нибудь малярке из рабочего общежития? Правда, и сами Аксаковы не больно-то бояре и дворяне, вот разве что уж совсем во глубине веков, но все же какая-никакая, а интеллигентная семья. На Георгия столько надежд возлагается, с ума сойти! Поэтому лучше не истязать родных всякими неожиданными вроде мезальянса. А чтобы невзначай не залететь в неприятную ситуацию, Георгий больше к девкам-маляркам не ходил. И в другие общаги, куда время от времени продолжали зазывать его Валерка с Юркой, – тоже ни-ни, ни ногой. То, что у них с Заей случилось, сказать правду, на него никакого впечатления не произвело. Так себе... мимолетная приятность. Стоит ли ради нее влипнуть в разные нечистоплотные истории? Нет, не стоит. Вообще физическое влечение – вещь не столь уж изнурительная и вполне преодолимая. Спорт – отличный помощник. Пару лишних километров сделаешь во время утренней пробежки по Откосу – и как рукой снимает мысли о всяких глупостях. А тот, кто уверяет, будто без баб жить не может, просто врет и выставляется, цену себе набивает. Ишь, Казановы энские... Дух должен главенствовать над плотью! То, о чем пишут в стихах, – поэтическая гипербола, метафора и все такое. А на самом деле...

Переживаемо, честное слово, все вполне переживаемо! И, главное, сохраняешь уважение к себе и к женщине как к человеку. Ведь если пользоваться ею как товаром, деньги за это платить, – значит, унижать, оскорблять ее человеческое достоинство. А уж когда потребление женщины поставлено на поток, так и вообще страшно! С подобным надо бороться. Каленым железом выжигать.

Такой точки зрения (во всяком случае, на словах) придерживались все активисты «Комсомольского прожектора», которые шли сейчас по улицам Сормова. Путь они держали в один из неприметных проулочков, где обосновался... самый настоящий публичный дом. По слухам, там все было как «у Мопассана»: комнаты сдавались за деньги, девушки – тоже. Кто завел этот дом, кто там, так сказать, служил – о том толковых сведений в «Комсомольском прожекторе» не имелось. Однако, по тем же слухам, таким образом подрабатывали не местные, сормовские девицы (этих здесь не держали, просты больно!), но девушки из очень неплохих семей, с образованием, из них некоторые – студентки. И даже якобы дочери весьма высокопоставленных родителей, из руководящих органов. Чего ищут обкомовские кралечки – денег, или острых ощущений, или того и другого, – сие тоже никому не было ведомо. Вообще тут все было туманно, ведь сведения о публичном доме «Комсомольский прожектор» получил из анонимки.

Неизвестный доброжелатель (или недоброжелатель, уж как посмотреть!) сообщал, что сормовской милиции о существовании «непотребного заведения» давно известно, но поскольку его услугами пользуются отнюдь не рабочие «Красного Сормова», а приезжают зажиточные товарищи из Верхней части города (которая всегда считалась более привилегированным местом по сравнению с Заречной частью, тем паче – с рабочим Сормовом!), то начальник райотдела хорошо получает на лапу, вот и молчит в тряпку. Возможно, ментам тоже перепадает от любезных красоток, а возможно, их роль чисто охранная. Поэтому гражданам, возмущенным творимым непотребством, нет смысла обращаться к милиции. Уничтожить сие позорное заведение можно только одним способом: выставить его на публичное осмеяние. Вытащить его, так сказать, за ушко – да на солнышко! А кто может это сделать лучше, чем «Комсомольский прожектор», который борется со всякими недостатками в быту...

«Комсомольский прожектор» был не только университетской студенческой многотиражкой, известной в городе. Так же называлась инициативная группа старшекурсников почти со всех факультетов, которые поставили себе задачу: избавить молодежные организации от демагогии, ничегонеделания, болтологии, придать новый, действенный смысл их существованию. Прежде всего они намеревались изменить комсомол.

– Что такое на сейчас комсомол? – вещал Николай Лесной с радиофака (факультет считался самым прогрессивным в Энском универе). – В наше время – организация, забывшая боевые традиции прошлого, скованная инфантилизмом по рукам и ногам, безынициативная, бездеятельная. Лозунг «Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть!» звучит, конечно, классно, но мы выглядим в этой ситуации просто как управляемые роботы. А мы молоды, сильны, в конце концов, именно нам в скором времени придется отвечать за судьбу страны. И за что же мы сможем отвечать, если приучимся работать только под диктовку, мыслить чужими мыслями, говорить чужими словами, совершать чужие поступки?

– Ага, роботы решили бунтовать? – хмыкнул Валерка Крамаренко. – Опасная штука. Поопасней, чем у Чапека!

– А кто такой Чапек? – спросил простодушный великан Егор Малышев с физвоса. – Он с какого факультета?

– Сила есть, ума не надо, – засмеялся Валерий. – Эх ты, дитя природы! Карел Чапек, чешский писатель, в двадцать первом году придумал роботов.

– Да ты что? – изумился Егор. – А я думал, их наши ученые придумали... Мы же первыми послали корабли в космос, значит, и роботов мы придумали. Ты чего-то напутал, Валерка!

Валерка возвел очи горе€.

– Ну точно, дитя природы... – вздохнул он тихо.

Но Егор услышал и покраснел. И в который раз ругнул себя за то, что ляпнул, не подумавши. Нет, ну правда, что он со своим физвосом вечно суется в споры гуманитариев или физиков?

– Между прочим, – ехидно сказал Георгий, – насчет Чапека как первоизобретателя роботов – вопрос спорный. Ты слышал про Голема, глиняного человека, которого оживлял бумажный свиток, исписанный каббалистическими заклинаниями и положенный ему в голову?

– Но это же совсем не то! – воскликнул Валерий.

Разумеется, Георгий знал, что Валерка прав. Роботов в современном понимании придумал именно Карел Чапек, и слово «робот» именно он первым запустил в обиход. Но тошно было видеть выражение снисходительного превосходства в глазах Валерки. Одетый в серый джемпер (прямо на голое тело, без рубашки – так шикарней), узконосые туфли, брючки со стрелками, по сравнению с Егором в его скороходовских сандалиях, брюках с пузырями на коленях, во фланелевой рубахе с подвернутыми рукавами Валера выглядел, конечно, настоящим интеллигентом. А Егор – парнем от сохи. Да он и был таким! Ну и что?

«Погодите, – злорадно подумал Георгий, – Егор уже сейчас входит в городскую сборную по тяжелой атлетике. Далеко ли до областной? А областная сборная в прошлом году ездила в Польшу на международные соревнования, на будущий год поедет в ГДР. А это уже настоящая Европа! Вот как вернется наш Егорша в синих «техасах», которые некоторые называют «джинсы», в рубашечках нейлоновых и во всем таком, ну, я не знаю... Тогда наш модник Валерочка заволнуется, спать спокойно не сможет, будет выпрашивать хоть что-нибудь «фирмное» продать за любые деньги. Егорша не жадный, он и так отдаст, да ведь в его шмотках Валерку не найти будет, он в них просто утонет. Вот смеху будет! Вообще, между прочим, Валерка подозрительно модно одет. Таких вещей ни в каком распределителе, ни по какому благу не купишь. Неужели ездит в Москву к фарцовщикам? А совместимо ли это со званием активиста «Комсомольского прожектора»? Ведь мы боремся со спекулянтами, с фарцовщиками, а Валерка...»

Додумать ему не дали. Поскольку на собрании были и филологи, они немедленно принялись щеголять эрудицией и доказывать, что даже Голем, созданный в четырнадцатом, что ли, веке, – вторичен, а первичен вообще персонаж древнегреческой мифологии Кадм, который, убив дракона, разбросал его зубы по земле и запахал их, а потом из зубов выросли солдаты. Разве они – не роботы Кадма?

– Галатея тоже робот, – сказал кто-то с истфака. – Хоть и женщина, но робот. Ее создал и оживил Пигмалион.

– Галатея тоже вторична, – возразил эрудированный филолог. – Слыхали о глиняном гиганте Мисткалфе, который был создан Рунгнером для схватки с Тором, богом грома? «Старшая Эдда» постарше будет ваших древнегреческих мифов.

– Что?! – возмущенно закричали историки, но тут снова вмешался Георгий:

– Ну, строго говоря, и Буратино робот. А уж человек-то, созданный по образу и подобию Божьему... Может, хватит, а, ребята? – Он уже жалел, что заспорил с Валеркой. Да было бы о чем, а то о сущей ерунде. Но ведь трепачам-студентам только дай тему, и их ерундовские пререкания, конечно, сейчас уведут дело от главного.

– Вот именно, хватит, – неожиданно поддержал его Валера. – При чем тут мифы и всякие детские сказки? Да и Чапек тоже. Вы еще про Франкенштейна вспомните! Я вот читал в «Науке и жизни», что первый чертеж человекоподобного робота был сделан Леонардо да Винчи около 1495 года. В его записях нашли детальные чертежи механического рыцаря, способного сидеть, раздвигать руки, двигать головой и открывать забрало. Правда, неизвестно, пытался ли Леонардо построить робота.

– Первого работающего робота – андроида, играющего на флейте, – создал в 1738 году во Франции механик и изобретатель Жак де Вокансон, – сообщил Иннокентий Птицын, известный всезнайка с физмата. Он мечтал попасть в энскую команду КВН, чтобы блеснуть своими знаниями с экранов телевизоров. Однако у него не было никаких шансов, потому что в КВН нужны были эрудированные, но и веселые и находчивые, а у Иннокентия вообще не было чувства юмора. – Вокансон также изготовил механических уток, которые, как говорят, умели клевать корм и испражняться.

И он обвел окружающих своими строгими карими глазами, которые за толстыми стеклами очков казались маленькими-маленькими.

Кто-то хмыкнул, кто-то потупился. Впрочем, своей простодушной бесцеремонностью Птицыну удалось вернуть спорщиков с небес на землю и обратить к насущным и первоочередным задачам «Комсомольского прожектора». Вспомнили, что один из преподавателей радиофака, приехавший из Одессы, рассказывал о деятельности «Легкой комсомольской кавалерии», существовавшей при тамошнем университете. «Легкая кавалерия» боролась со стилистами. Их ловили и советовали одеться «по-человечески», чтобы не позорить звание советского студента. Брюки, которые были шириной менее четырех спичечных коробков, распарывали. Толстые подошвы с модных ботинок срезали. Зализанные длинные волосы стригли... Актив-

висты «Комсомольского прожектора» обсмеяли радикализм десятилетней давности и решили не опускаться до мещанских же методов борьбы с мещанством, а все силы бросить на борьбу со спекуляцией, которая, конечно, достигла просто-таки угрожающих масштабов. Всезнайка Иннокентий Птицын процитировал Ленина: «Спекулянт – враг народа». При двух последних словах некоторые поежились, но потом все же согласились занести цитату в протокол собрания.

Что и говорить, со спекулянтами «Комсомольский прожектор» и впрямь начал бороться ретиво. Выходили с рейдами на рынки. Когда удавалось приметить спекулянта, отнимали у него товар, уносили с собой, прятали в специальный сейф и передавали спекулянта милиции. Отнимать товар ребята вообще-то не имели права, но милиция их поощряла, ведь все лавры доставались райотделу, который «вел успешную борьбу с вредным, чуждым нашему строю явлением».

В столовых – это все знали – творилось черт знает что. Там обсчитывали безнаказанно, недоливали, порции накладывали на глазок – порой они оказывались смехотворны... Когда дежурить по торговому сектору выпадало Григорию и Валере, они заходили в столовую и заказывали еду и напитки. Затем заставляли официантов взвешивать поданное. Обычно оказывалось, что порции гораздо меньше заказанного. Составляли протокол. В столовой начиналась суета: о «Комсомольском прожекторе» уже ходили слухи по городу, знали, что это не просто ребята молодые собрались языками потрепать, что своих жертв активисты передают в милицию. Поэтому иной раз директор или шеф-повар зазывали дежурных в отдельную комнату и предлагали водку, роскошные конфеты, а как-то раз директор пельменной на углу Пискунова и Дзержинского попытался всучить Георгию свои часы. Дежурные, как идейные комсомольцы, все меркантильные предложения записывали в протокол.

Но не все шло так гладко, иной раз прожектор светил в пустоту. Как-то раз Александра Константиновна, баба Саша, попала в больницу – у нее случился приступ аппендицита. Выписалась она как-то подозрительно скоро и вернулась домой совершенно не в себе.

– Ты представляешь, Игорь, что я узнала! – возмущалась она, страшно волнуясь. – Оказывается, та еще больница! Главврач держит в специальной палате здоровых людей, и их якобы лечат. А после «лечения» им выдают справки о тяжелых заболеваниях, по которым они получают различные льготы – бесплатный курорт, пенсию по болезни, освобождение от работы и все такое. Медсестры и врачи все знают, негодуют, но боятся выступить против главврача. От больных, настоящих больных, конечно, ситуацию скрывают, я узнала совершенно случайно.

– А почему никто не заявит в милицию? – спросил Георгий.

– Потому что боятся потерять работу. Штука в том, что у главврача сестра – заведующая здравотделом нашего района. Если она узнает, что им заинтересовались, он будет переведен в другую больницу, а тот, кто написал заявление, нигде потом устроиться не сможет. Игорь... то есть Георгий, ваш «Комсомольский прожектор» должен провести тайное расследование!

Тайного расследования тогда не получилось: шла сессия, ребятам было не до главврача-лепилы. Георгий написал заявление в милицию и предупредил, что расследование необходимо провести очень осторожно. Милиция обещала разобраться. Но ответ на свое заявление Георгий получил только через два месяца. Ему сообщили, что главврач уже два месяца как не работает в больнице и что сведения не подтвердились.

– Вы б дольше ждали! – возмущенно закричал Георгий.

– Больше нам делать нечего, как ваши фантазии проверять, – был ему ответ.

Вскоре Егор Малышев поймал с поличным трех рабочих, которые воровали стройматериалы (они вывозили их со стройки целыми машинами). Двоих из них он приволок в милицию и заставил составить протокол допроса. Начальник отдела обещал прислать следователей на стройку, с которой воровали стройматериал. Но приехали они на стройку только через месяц и, естественно, не обнаружили никаких хищений.

– Нам нужно перестать прятаться за спину милиции, – сказал Николай Лесной. – В некоторых случаях мы должны действовать самостоятельно. Нет, конечно, мы должны ставить органы в известность о творящихся безобразиях, но не ждать их мер, а принимать их самим.

Все согласились. И тут как раз пришла анонимка о публичном доме в Сормове...

– Загадочное письмо, – сказал Георгий, когда ее прочли.

– Что ж тут загадочного? – удивился Валерий Крамаренко. – Все расписано точка в точку: адрес, время работы, указано, когда лучше появиться, чтобы застать девиц на рабочих, так сказать, местах... Сразу видно, что человек хочет каленым железом выжечь такой пережиток прошлого, как проституция.

Глаза Валерки смеялись, и было совершенно непонятно, говорит он серьезно или, по обыкновению, ерничает.

– Мне кажется, – задумчиво сказал Георгий, – тут что-то не так. Сам не пойму, не знаю, что именно, но чую... Неладно, я вам говорю!

– Мне тоже письмо странным кажется, – неожиданно поддержал немногословный Егор. – Вроде как доброжелатель двух зайцев хочет убить. И чтоб мы шалман накрыли, спугнули их, значит, и чтобы никого там не накрыли. Ну что мы можем? Приедем, посмотрим, пристыдим, потом в милицию доложим, а доказательств никаких. Пока суд да дело, все следы заметут.

– Невесть что ты плетешь, Егорка, пинжак несчастный! – с досадой сказал Валерий. – Ничего понять невозможно.

– А что тут понимать? Все понятно, – пожал плечами Лесной. – Предположим, у кого-то муж или сын ходит в этот... Как ты сказал, Егорка? Шалман? Ну, пусть будет шалман. Или, к примеру, дочь там, так сказать, подрабатывает. И женщина хочет, чтобы ее родных только спугнули, но не арестовали. Мы-то как раз спугнем. А если появится милиция, тут всякое может быть... Вероятно, поэтому автор так настойчиво повторяет: знают, знают в милиции обо всем, а мер никаких не принимают, вот и не трудитесь им снова сообщать.

– Так мы что, в самостоятельное плавание отправляемся? – насторожился Валерий. – Вообще никуда сообщать не будем? А в нашей стране проституция карается законом! То есть мы лишаем защитников закона возможности исполнить свой долг!

– Защитников закона... фу-ты ну-ты, ножки гнуты... – пробурчал Егор, который тоже умел ехидничать, когда хотел. – Скажешь тоже...

– Не переживай, – усмехнулся Лесной, глядя на Валерия. – Никого мы ничего не лишим. Я уже позвонил в милицию. Теперь им деваться некуда. Они устраивают облаву сегодня в десять вечера.

– Ну вот! – развел руками Валерий. – И все лавры, значит, сержантам милиции достанутся? «Спи, страна, бережет твой покой милицейский сержант»? Или почести выпадут майорам с усталыми, но добрыми глазами?

– Да зачем нам почести, Валерка? – Лесной встал, показывая, что спор окончен. – Мы же ради идеи. И ради справедливости. Ладно, хватит болтать, пора ехать. В Сормово пока дотащимся... Не хочу опоздать. В последнее время я что-то разуверился в нашей милиции, которая нас бережет. Если правда окажутся там какие-нибудь привилегированные особы, как бы в отделении не начали пыль под ковер заметать, чтобы не ссориться с властями предрежущими. Мы должны присутствовать там для того, чтобы защитники закона именно что исполнили свой долг, а не увильнули от этого. Все, ребята, не задерживаемся! Мы должны успеть ровно к одиннадцати.

Они успели к десяти. Они уже в половине десятого были в укромном сормовском проулочке! И все же они опоздали.

1941 год

Алекса забрали под вечер, во время обеда.

– Мадам, вас к телефону! – заглянула в столовую горничная. Вид ее был испуганным.

– Кто это, Катрин?

– Мне кажется, мадам Коренефф. У нее какой-то странный голос...

– Извините. – Татьяна с трудом поднялась со стула. Как только услышала сегодня по радио речь Геббельса о вторжении в Советский Союз: «Сегодня в пять утра наши славные войска... Сопrotивления пока нет, продвижение внутрь страны идет усиленным темпом...», у нее словно бы что-то воткнулось под лопатку с левой стороны – да так там и осталось.

«Ранний радикулит!» – с пафосом провозгласила бы еще вчера свекровь, которая Татьяну терпеть не могла. Сегодня она промолчала.

«Это нервы», – усмехнулся бы свекор, который относился к невестке весьма насмешливо. Но сейчас он только вздохнул.

«Это сердце», – пробормотал бы муж, который ее обожал. Сегодня он тихо сказал:

– Танечка, успокойся, моя хорошая, Россией они подавятся. Для Гитлера губительная ошибка, что он полез в Россию.

– Подавится и ломает зубы! – с кровожадным выражением поддакнула Рита.

Татьяна окинула взглядом сидевших за столом. Свекровь – наполовину полька, наполовину русская – уехала из России почти сорок лет назад, ее муж, француз, был там только в начале века, да и то проездом, Алекс не ездил в Россию никогда, Рита родилась в Париже. Она сама... Ей было восемнадцать, когда они с матерью перешли китайскую границу и оказались в Харбине, покинув Россию навсегда. Их всех свел вместе случай, трагический случай. Сегодня, несмотря на всякие «цап-царапки», как это называла Рита, они вдруг впервые почувствовали себя одной семьей.

– Россия... – пробормотала Эвелина задумчиво. – Не могу сказать, чтобы я задыхалась от приливов патриотизма, но Гитлера своими бы руками придушила.

Татьяна слабо улыбнулась на слова свекрови и подошла к телефонному аппарату, стоявшему на высокой антикварной тумбе у окна.

Еще поднося трубку к уху, услышала всхлипывания. Ирина Коренева, ее подруга, рыдала в голос.

– Ира, Ирина! Что-то случилось?

– Таня, они только что увели Николая!

Николай был мужем Ирины, инженером с «Рено». Его увели... Кто, куда?

– Ирина, что ты говоришь? Я не понимаю.

– Его арестовали! Они берут всех русских! Всех, слышишь? Петра Андреевича Бобринского уже забрали, Масленникова, князя Красинского, генерала Николая Семеновича Голеевского... И адвоката Филоненко, и отца Константина Замбрежицкого, настоятеля церкви в Клиши, и еще...

– Что это значит? – испуганно спросила Татьяна. – Подожди, Ириночка, не плачь, произошло какое-то ужасное недоразумение!

– Таня, – сквозь слезы выкрикнула Ирина, – я не знаю номера Угрюмовых, позвони им! Ниночке надо позвонить, слышишь? Скажи...

Разговор прервался. То ли Ирина трубку бросила, то ли разъединили на линии. Теперь такое случалось часто.

Татьяна положила трубку, и тут же раздался звонок.

Бросилась к телефону снова:

– Алло, Ириночка, я слушаю!

Но в трубке продолжались гудки. Ах, да ведь это в дверь звонят!

Процокали каблучки горничной в прихожей. Щелкнул замок:

– Вы к кому, господа? Ах, Боже! Медам, мсье! Здесь солдаты!

Голос ее испуганно прервался. Тяжело топая, в столовую вошли два громадных фельд-жандарма с «кольтами» в руках, оба в чине ефрейтора. Повернулись к Алексу:

– Sie sind Russe?

– Nicht, – чуть приподняв брови, машинально ответил тот. Но вдруг, словно спохватившись, сказал с вызывающим видом: – Ja!

– Also, sie sind verhaftet.⁵

– Что-о? – тихо сказала Рита. – Арестован? За что?

– Арестован? – вскричала Эвелина, вскакивая так резко, что упал тяжелый резной стул.

– Погодите, господа, – рассудительно произнес Эжен. – Надо разобраться. Мой сын – русский только на четверть. У него французская фамилия, он гражданин Франции.

Видимо, один из жандармов ничего не понимал, поэтому смотрел на возмущенного Эжена Ле Буа равнодушным оловянным взглядом. В глазах у другого мелькнула насмешка:

– Wo ist hier, auf ihre weise, Frankreich? – И тут же завел нетерпеливо: – Also schnell, los, los! Sie gehen it!⁶

Все взрослые стояли, словно онемев. Только Рита, от волнения с трудом подбирая немецкие слова, попросила дать хоть несколько минут, чтобы собрать немного вещей.

– Gut, – снисходительно сказал ефрейтор, поигрывая глазами ради хорошенькой девушки, – aber schnell, bitte.⁷

Татьяна и Алекс вышли в спальню. Саквояж, с которым Алекс собирался завтра в поездку в Марсель по делам фирмы, стоял наготове: он всегда загодя собирал вещи.

– Ну вот, – ухмыльнулся Алекс, кивнув на саквояж, – а ты называла меня суетливым сусликом, который торопится набить свои защечные мешочки. Как хорошо, что я оказался таким предусмотрительным сусликом и набил их заранее!

Татьяна громко всхлипнула:

– Это ошибка, ошибка!

– Что? – спросил Алекс с затаенной улыбкой в глазах и голосе. – Что именно – то, что ты назвала меня суетливым сусликом, или арест?

Татьяна никогда не могла удержаться от смеха, если Алекс хотел ее рассмешить. Может быть, в этом и крылась причина того, что их странный (вот уж воистину!) и в немалой степени вынужденный брак не распался и даже трещину не дал. И даже теперь она невольно улыбнулась сквозь слезы.

– Не переживай, – сказал Алекс, – если в самом деле произошла ошибка, придется как-нибудь разобраться в ней. Ну а если... – Он пожал плечами. – Ну а если все же... значит, я скоро встречусь на небесах с Дмитрием и скажу, что был благодарен ему по гроб жизни.

Они торопливо поцеловались и вышли в столовую. Ле Буа так и стояли в прежних позах, словно окаменев. Жандармы переминались с ноги на ногу со скучающим видом. Горничная плакала, как-то очень по-русски собирая слезы в горсть. У Риты было ледяное, презрительное выражение лица.

– Алекс, мальчик мой... – простонала Эвелина по-русски, но фельджандарм обернулся к ней с грозным видом, и она прикусила язык.

– Ничего, мамочка, – сказал Алекс по-французски, – все выяснится. Танечка все узнает, будет за меня хлопотать – и меня выпустят.

⁵ – Вы русский? – Нет. Да! – Вы арестованы (нем.).

⁶ Где здесь, по-вашему, Франция?.. Все, быстро, быстро! Вас будут сопровождать! (нем.)

⁷ Хорошо, только поскорей, пожалуйста (нем.).

Эвелина кивнула, опершись на плечо мужа. Лицо ее дрожало. Эжен Ле Буа по-прежнему стоял как каменная статуя. Держался, видно было, на пределе сил, но держался.

Алекс коснулся рукой плеч матери, отца, Риты, махнул Татьяне и вышел. Все ринулись было следом, но ефрейтор сурово глянул с порога и покачал головой.

Замерли.

– Bitte, sagen Sie mir, wo kann ich jetzt Auskunft haben? – быстро спросила Татьяна.

Ефрейтор помолчал, потом ответил:

– Zwei und siebzig Avenue des marschalls Foch.

– Aber was ist da, an dieser Adresse?

Он помолчал, потом произнес особенно внушительно:

– Es ist ein Haus.⁸

И снова завел:

– Also schnell, los, los...

Утром Татьяна была на авеню Маршала Фоша, 72. Это оказался громадный роскошный особняк, когда-то подаренный немецким графом знаменитой кокотке времен Наполеона III. В широких коридорах звучал патефон: сладкие штраусовские вальсы. То возле одной двери, то возле другой она видела знакомых женщин: русские, эмигрантские жены и дочери. На всех лицах – страх и недоумение, со всех уст срывался один и тот же вопрос: «За что?!» Ответа добиться не удалось ни в одном кабинете ни в тот день, ни в другой, ни в третий... Не помогли и связи Ле Буа: все старые французские связи в новом немецком государстве стали недействительны. Как тут было не вспомнить ухмылку фельджандарма: «Где здесь, по-вашему, Франция?»...

Наконец через неделю непрерывных хождений в особняк объявили: все задержанные русские находятся в военных казармах в Компьене, возможно, что их вывезут в Германию. Некоторые дамы снова ударились в слезы: они были замужем за евреями. Выяснилось, что всего забрали около тысячи человек: некоторых из провинции, но больше парижан.

– Мой муж наполовину француз! Он родился во Франции еще до революции, еще до войны! – надрывалась доказывать Татьяна.

– Это не играет роли, – неизменно звучал ответ. – У нас много таких, как он.

Оказывается, арестовали всех русских потому, что боялись восстания против фашистов. Русские могли его подготовить, протестуя против нападения на СССР.

«Да Боже мой, Алексу такое и в голову бы не пришло!» – думала с отчаянием Татьяна, однако червь сомнения все же подгрызал: откуда ты знаешь? Хорошо ли ты вообще знаешь своего мужа? Тебе казалось, что душа Дмитрия для тебя – раскрытая книга. А он устроил настоящее представление тогда, в тридцать седьмом, и исчез, инсценировав собственную гибель. Теперь вот погиб... на самом деле погиб, защищая переправу через реку Шэр.

Вскоре постоянные посетительницы дома 72 по авеню Фош узнали, что в Компьене начали принимать передачи. В ближайшее воскресенье туда поехали человек десять, в том числе Татьяна с Ритой и Ирина Коренева. Жара стояла невыносимая, да к тому же выяснилось, когда сошли с поезда, что до лагеря – четыре километра. Татьяна немедленно порадовалась, что свекор запретил Эвелине ехать с ними. Запрет, правда, вызвал грандиозный скандал в семье, но да Бог с ним, со скандалом: на такой жаре Эвелине немедленно бы стало плохо, с ее-то гипертонией. А вот что напрасно, так то, что Татьяна отказалась от машины Ле Буа. Но, с другой стороны, она не выдержала бы нескольких часов езды по извилистым дорогам: ее всегда страшно укачивало в автомоторе.

⁸ Пожалуйста, скажите мне, где я могу получить какую-нибудь справку? – Авеню Маршала Фоша, 72. – Но что находится по этому адресу? – Один дом (нем.).

Татьяна сочувственно посмотрела на одну из спутниц – очень полную даму, которая изнемогала от жары. Татьяна заметила ее в первый же день, когда пришла на авеню Фош. С полуседыми, но тщательно уложенными волосами, в сером легком платье и серой шляпе, она выглядела очень элегантно. Ей было на вид около шестидесяти, но сразу становилось понятно, что она была поразительно красива в молодости. Впрочем, и теперь глаза оставались хороши, и голубиные веки, в точности как у «Дамы в черном», «Неизвестной» Крамского, и все еще яркие, хотя и чуть расплывшиеся губы...

«Пожалуй, еврейка. Иметь такую типичную внешность на территории вермахта, пожалуй, опасно!» – подумала Татьяна.

Ирина, которая, перестав плакать, вновь стала очень деловой и сдержанной (правильно – слезами горю не поможешь!), немедленно углядела единственного извозчика, старика с полуживой клячей. Он сказал, что может довести до лагеря только... одну даму. Мол, слишком стара его Миньон, четыре километра для нее очень много... Четыре километра и три дамы – итого семь. О, это невозможно!

– Ну что ж, ампосибль так ампосибль, – усмехнулась Татьяна. – Мы и пешком пройдем, правда, медам? А вы возьмите вон ту даму. – И она указала на женщину в сером.

Извозчик снял шляпу, слез с козел и помог даме устроиться в коляске. Она благодарила бессвязно, у нее дрожали губы, дрожал кружевной платочек в руке. Старик уложил огромный узел, который она волокла. Передача была завязана в плюшевую зеленую занавеску с помпонами.

– Н-но! – сурово сказал возчик.

Миньон принялась вяло перебирать ногами.

Татьяна, Ирина и Рита быстро пошли вперед по каменистой дороге, клонясь то вправо, то влево в зависимости от того, с какой стороны держали сумки с передачей.

– А все-таки, чего семь? – спросила Рита задумчиво.

– Ты о чем? – непонимающе свела брови Татьяна.

– Ну, старик сказал: четыре километра и три дамы – итого семь. Чего семь?

Татьяна и Ирина переглянулись и неожиданно принялись хохотать. Еще громче они захохотали, когда невзначай оглянулись и увидели, как неторопливо тащится по дороге Миньон. Пожалуй, они успеют дойти до лагеря и вернуться назад, а Миньон не одолеет и полпути!

– Ой, что ж мы, дурочки, хохочем... – вдруг сказала Ирина с тоской. – Может, их там уже всех...

– Если примут передачу, все в порядке, – рассудительно сказала Рита. – Что вы, тетя Ира, паникуете раньше времени!

Татьяна и Ирина поглядели на пятнадцатилетнюю менторшу с изумлением, но промолчали.

И вот дошли, собрались в кучку, стали ждать выхода начальства. Баулы, пакеты и чемоданчики с передачей велено было снести в сторожку против входа в громадный город-казарму, который тянулся в длину больше чем на километр. Появился вахмистр – коренастый, бравоый, подтянутый. Назвал свою фамилию – Кунце. Несколько дам к нему бросились, насильно совали ему бутылки красного ординарного вина и лепетали по-немецки:

– Bitte, nehen Sie doch, bitte!

– Фу, – пробормотала Рита.

– Ничего не фу, – ответила Ирина. – Они беспокоятся за своих мужей, на все ради них готовы, даже на унижение.

– Вот именно – фу! – не сдавалась Рита. – Вон та тетка только что сказала вахмистру, что ее муж просто обожает фюрера.

– Да ты что?

– Честное слово, сама слышала! Правда, Кунце не поверил и отказался взять передачу.

Татьяна и Ирина обернулись.

Неподалеку стояла та немолодая брюнетка в сером, плакала, прижимая к себе свой огромный узел. Теперь и лицо у нее было серое от горя.

– Почему вы не отнесли передачу в сторожку? – спросила Татьяна сочувственно.

– У меня не взяли! Он посмотрел на меня и... сделал рукой так: пошла, пошла вон! – Дама попыталась повторить жест охранника. – Я понимаю, он решил, будто я еврейка. Но мой муж русский! Я пыталась объяснить, но вахмистр даже слушать ничего не захотел!

– Господи, неужели вам придется везти все это обратно? – с ужасом сказала Рита, глядя на зеленый плюш. – Послушайте, я знаю, что нужно сделать. Я сама ваш узел сдам: ведь солдат, который принимает передачи в сторожке, меня еще не видел. И узла вашего не видел. Я скажу, что привезла вещи для моего дяди. Как фамилия вашего супруга?

– Сазонов, – пролепетала дама. – Всеволод Юрьевич Сазонов.

– Дай мне листок из блокнота, мама, – энергично попросила Рита.

Она мигом написала записку и с помощью Ирины поволокла узел в сторожку.

– Ох, спасибо вам, – всхлипывая, бормотала дама в сером. – Я было совсем отчаялась, а теперь... Татьяна Никитична, спасибо вам и Риточке. У вас такая милая, такая умная дочь! У меня когда-то была дочь, но несколько лет назад она... она трагически погибла. – Дама прикусила кружевной платочек, пытаясь сдержать рыдания.

– Какое несчастье, – пробормотала Татьяна. – Я вам очень сочувствую, ужасное горе... Прошу меня извинить, вы знаете меня и мою дочь? Но я... Еще раз прошу прощения, мы знакомы?

В серых глазах мелькнуло странное выражение:

– Кажется, нет... Ах, наверное, я просто слышала ваше имя там, на авеню Фош, 72. Кстати, меня зовут Инна Яковлевна.

– Ну вот и познакомились, – улыбнулась Татьяна.

Инна Яковлевна (на самом деле ее имя было Нина, но она больше любила псевдоним) разулыбалась в ответ, вытирая платочком все еще мокрые ресницы.

«Ах я старая корова! – бранила она себя в ту минуту. – Надо же было так проговориться! Уж конечно, я никак не могла быть знакома с Татьяной Ле Буа. Я ведь видела ее, когда она звалась Татьяной Аксаковой... и вместе со своей хорошенькой дочкой была фактической заложницей для нас. Только часы отделяли их от смерти – тогда, четыре года назад... Повезло им. Конечно, она об этом не догадывалась, а я чуть не попала сейчас. Хорошо, что удалось сослаться на встречи на авеню Фош, а то что было бы делать? Признаться, я, мол, была знакома с вашей, дорогая Татьяна Никитична, матушкой, даже ходила к ней, когда она держала на рю Марти гадальный салон? И с ее помощью мы с Юрским – Сазоновым тож! – провернули блестящую операцию по устранению врага Советской России Вернера? И главную роль в той операции играл ваш, Татьяна, бывший муж Дмитрий, которого там же и пристрелили – вывели в расход, как говорили мы в Гражданскую, когда сметали пыль старого мира с лица обновленной России? Однако времена меняются... Они изменились настолько, что мы, жизни свои (и чужие!) щедро отдававшие за революцию, вдруг стали ее жертвами... Кто это сказал, революция, мол, пожирает своих героев? Сначала были отозваны в Москву Шадькович и Полуэктов – их отправили в лагерь сразу. Ну, те – мелкая сошка, пусть золото роют в горах или олово в тундре! Вряд ли они там выживут, конечно. А кто выживет? Сергей Цветков уехал позже, и моя Рената, моя маленькая, глупенькая Рената зачем-то увязалась за ним... Ах, как она хотела, чтобы Юрский женился на ней! А он в то время уже застариковал и понял, что сил его на двух женщин – меня и Ренату – не хватит, надо выбирать одну. Он выбрал меня, потому что при Ренате он всегда был бы старым мужем молодой красавицы, а при мне... Мы почти ровесники, мы знали друг друга столько лет... с четырнадцатого года, если мне не изменяет память. Целую жизнь! Вот Рената и уехала с Цветковым в Россию – и вместе с ним была рас-

стреляна в подвалах НКВД. Мы получили известие об этом случайно: Юрский выкрал шифровку у нового парижского резидента. И мы немедленно ушли на нелегальное положение. У нас были заготовлены документы на сей случай, мы ведь знали, что от нашего брата большевика всего можно ожидать... Вторжение немцев во Францию было для нас очень кстати, очень. Конечно, не слишком-то хорошо жить в оккупированном Париже под русскими фамилиями, но еще хуже – выслушать в России смертный приговор, в котором будут названы наши настоящие имена... Черт же понес этого Гитлера на Союз! Черт же заставил немцев запаниковать и начать грести под одну гребенку и видных деятелей эмиграции, и таких неприметных, тихих, мирных рантье, каким стал теперь некто Сазонов! Ох, неведомо, удастся ли ему выкрутиться... А мне, удастся ли выкрутиться мне? Рассказывают страшные вещи о том, что фашисты делают с евреями. Да что же за жизнь у меня такая! Неужели мне до конца дней судьбой предназначено крутиться, как рыбе на сковороде, а жарить меня будут то свои, то чужие?»

Инна Яковлевна наконец опустила платочек и исподтишка поглядела на Татьяну. Та стояла с суровым выражением лица, и у мадам Сазоновой (некогда, напомним, звавшейся Инной Фламандской) воровато дрогнуло сердце. Ну да, на воре и шапка горит!

Однако Татьяна взглянула на нее с виноватой улыбкой:

– Извините, я задумалась... о своем. Об Алексее. Помню, когда его уводили, я с ужасом ощутила – уже четвертый раз на протяжении своей жизни, а мне сорок один! – что рушится окружающий меня мир.

– Могу держать пари, – со слабой, беспомощной улыбкой, так красившей, она знала, ее лицо, пробормотала Инна Яковлевна, – что первый раз он для вас рушился в семнадцатом году.

– Да, конечно, – сказала Татьяна. – Но если в октябре семнадцатого еще оставались какие-то надежды, что «это безобразие», как тогда говорили, скоро пройдет, то в декабре отец уже не лелеял никаких иллюзий. Рабочие – он был управляющим на огромном заводе в Энске, в Сороме, – плевали на улицах ему в лицо. Он отсиживался дома, каждую минуту ожидая, что – ворвутся и убьют, не помилуют и нас, его семью. «Пока еще ничего, – говорил он, – но настанет время, когда людей будут убивать на улицах только за то, что у них чистые руки!» Но даже и он не мог себе представить того ужаса, который свалился вскоре на страну! Конечно, у него были и доброжелатели, были люди, которые помнили то хорошее, что он делал. И один из них случайно узнал, что его фамилия, Шатилов, значится в списках людей, подлежащих самому скорому уничтожению. Нам удалось уехать в Казань, к родственникам отца. Конечно, там тоже властвовали большевики, но обстановка почему-то не была настолько... оголтелой. Трудно поверить, но в некоторых семьях там даже устраивали домашние балы!

– Ну надо же! – покачала головой Инна Яковлевна с видом крайнего изумления.

– Да-да! – продолжала Татьяна. – А потом Казань была взята совместными русскими и чешскими частями, большевиков выкинули. Мы ждали, что вскоре будет освобожден Энск, готовились возвращаться, но вскоре и Казань оказалась под угрозой обратного захвата ее большевиками. Началась эвакуация.

Помню эту последнюю ночь... Все суетились, собирая вещи, а я, как ненормальная, спешила дочитать «Королеву Марго», которую мне подарил один студент, влюбленный в меня... Я читала о Варфоломеевской ночи, а на Волге протяжно и зловеще выли сирены. То давала о себе знать жалкая флотилия, наполовину составленная из никуда не годных барок и барж, флотилия, еще пытавшаяся оборонять город руками шестнадцатилетних юношей... Отъезд из Казани и вскоре, в пути, смерть отца – это была вторая гибель моего мира. Потом мы с братом и мамой добрались до Харбина. Знаете, мы ужасно боялись Китая, но оказалось, что Харбин – совершенно русский город! Мы там жили просто чудесно. Постепенно заживали раны, затихала боль потерь. Мой покойный брат, Олег, – Татьяна быстро перекрестилась – справа налево, как православная, хотя Инна Яковлевна заметила, что обручальное кольцо она носила на левой руке, как католичка, и крестик тоже был католический, украшенный гранатами... – занимал

очень неплохую должность на КВЖД. Я тоже немного зарабатывала – была манекеном в разных русских магазинах. В молодости я была, говорят, хороша собой, – невесело усмехнулась Татьяна.

Инна улыбнулась в ответ, насмешливо подумав: «Ох, знаю я вашу бесцветную славянскую красоту... Вот я была хороша в молодости, что да, то да! Я сбивала мужчин на лету, как птиц! Они падали к моим ногам, падали... Приятные существа – мужчины». И она снова улыбнулась, вспомнив особенно приятных. Один был, кстати, сормовский пролетарий, от которого можно было просто одуреть. Вот именно – одуреть! И не одна Инна от него дурела, но также, сколь она помнила, и мамаша Танечки, Лидия Николаевна Шатилова. Да, да, обе они – финансовый агент Ленина Инна Фламандская и жена сормовского управляющего мадам Шатилова – сходили с ума по одному и тому же синеглазому парню. Как бишь его звали? Товарищ Виктор, кажется. Или его имя Борис? Пожалуй, и не вспомнить. Но до чего же тесен мир...

– Это правда, – послышался голос Татьяны, и Инна Яковлевна поняла, что невольно заговорила вслух. Последнее время у нее появилась такая глупейшая старческая привычка. Опасная, между прочим. – Мир тесен настолько, что я иной раз не верю себе. Такие встречи бывают, такие совпадения...

– О да! – проговорила Инна Яковлевна с самой понимающей интонацией. И правда, она все очень хорошо понимала. Взять хотя бы их с Татьяной нынешнюю встречу...

– Взяти! – прервал ее мысли веселый голос, и она увидела Риту, которая вприпрыжку мчалась из сторожки. – Взяти и ничего не заподозрили!

– Спасибо! Ах, спасибо, деточка!

– Да не за что, – пожала плечами Рита. – Но послушайте, медам, если мы хотим успеть на поезд, нужно поторапливаться!

Татьяна взглянула на часы:

– Боже мой! С тех пор как немцы перевели часы на три часа, я постоянно теряю представление о времени... Скорей! Где наш возчик?

– Я здесь, мадам! – раздался надтреснутый голос, и в плечо Татьяны ткнулась морда Миньон, так что на какое-то мгновение ей почудилось, будто заговорила лошадь. – Я жду вас, никого не беру, хотя меня уже хотели подрядить другие дамы.

– Вы очень любезны, мсье! – пробормотала Татьяна, помогая Инне Яковлевне подняться в коляску. – Только нельзя ли попросить уважаемую Миньон перебирать ногами чуточку побыстрее? Если мы опоздаем на поезд, вы останетесь без чаевых!

– Конечно, конечно, – засуетился возчик. – Мы поедем быстро. Во-первых, под горку, во вторых, без узла. Никто никуда не опоздает, клянусь!

Татьяна усмехнулась. Если она сейчас скажет: «Нет, Шуйский, не клянись!», как любил говаривать, бывало, дядя Костя Русанов, возчик ее не поймет. Да и не нужно его отвлекать, а то, не дай Бог, и в самом деле опоздают!

Они не опоздали. Правда, в первом классе мест уже не было, сели во втором. Вагон был почти пустой. Ирина и Рита немедленно задремали, приткнувшись головами к стеклам. Татьяна с удовольствием последовала бы их примеру, но Инна Яковлевна схватила ее за руку:

– Милая Татьяна Никитична, сядьте со мной, прошу вас. Вы не закончили свой рассказ.

– О чем? – нахмурилась та. – А, да, о Харбине.

– Нет, – снова улыбнулась Инна Яковлевна. – О том, что мир тесен.

Ей страшно хотелось, чтобы Татьяна рассказала о своей встрече с Дмитрием, о том, как вышла замуж за мужа своей кузины. Это была прекрасная иллюстрация необычайной тесноты мира! Наверное, воспоминания причиняли боль Татьяне, ведь брак не принес ей счастья, однако Инна Яковлевна по сути своей относилась к тому типу людей, которые как бы питаются трепетом людских сердец. И отнюдь не счастливым трепетом! Дрожь в голосе от сдерживаемых слез, от горя, от страха – о да, прежде всего – от страха! – ей было жизненно необходимо

слышать. Они были для нее не то чтобы основным блюдом, но любимым десертом. Кому-то в дамское кафе сходить и посидеть за чашечкой кофе со взбитыми сливками и меренгами, а для Инны Яковлевны – навести человека на разговор, от которого у него все скукоживается внутри, на болезненные воспоминания, раздирающие душу...

Но была еще одна причина, почему Инне хотелось услышать о кузине Татьяны, об Александре Русановой, в замужестве Аксаковой. Ведь ту кузину Инна ненавидела как личного врага. Именно из-за нее произошла та знаменитая конфузия 1914 года, после которой Фламандская лишилась доверия Ленина и не была допущена к послереволюционной кормушке. Как подумаешь, сколько возможностей упущено, так и задушила бы своими руками и саму Александру, и кузину Татьяну, и еще одну их кузину, Марину, к которой Инна Яковлевна испытывала просто-таки оглушительную, особого свойства ненависть. Было за что, с ее точки зрения, было... А с другой стороны, стоит вспомнить, что те, кто своих возможностей в восемнадцатом – двадцатом годах не упустили, потом встали к стенке, или сгнили в лагерях, или были забиты насмерть в подвалах ЧК – ГПУ – НКВД. Тогда поневоле хочется сказать: все, что ни делается, – к лучшему! Может, оно и к лучшему, что их с Юрским, пардон, Сазоновым, гноили в Париже. Теперь они как-никак живы, а иных-то уж нет, а те – далече, ой как далече... На Колыме, например. Уж куда дальше-то? Но, может статься, чаша сия не миновала Александру Аксакову? Мало вероятия, что Татьяна имеет сведения об участии кузины – кто-кто, а уж Инна Яковлевна, бывшая сотрудница «Общества возвращения на родину», очень хорошо знала, сколь тщательно перлюстрируется вся исходящая из Советской России за рубеж корреспонденция. Но вдруг все же просочилась какая-нибудь новостинка об аресте или смерти Александры? Сколько удовольствия испытала бы Инна, узнав о ее трагической участи.

Ну а если не повезет узнать о том, как худо Александре, может быть, удастся навести Татьяну на воспоминания о Дмитрие? Тоже приятненько будет послушать о нем, опасном и хитрющем подлеце, которого перехитрить удалось-таки, поймав на очень простую приманку – на любовь к России, из которой он когда-то в панике и с отвращением бежал, но в которую вдруг пожелал вернуться... Ну просто медом им там всем будто было намазано, в России-то! Вот они и летели, как мухи на мед, а оказывалось, что это смола, в которой увязали их лапки, а потом и крылышки...

– Да, мир тесен... – проговорила наконец углубившаяся в свои воспоминания Татьяна. – Я в этом убеждалась не раз, убедилась и в Харбине.

«Да при чем тут Харбин?» – чуть не вскричала Инна, но деваться было некуда: пришлось прикрепить к своей физиономии маску лживого внимания и слушать, слушать никчемную болтовню.

1965 год

Приземистый дом, адрес которого был указан в анонимке, стоял темный и молчаливый. Ни огонька в окнах, дверь нараспашку.

– Вот те на... – удивился Николай Лесной, останавливая свою команду у калитки. – Вообще живым не пахнет. Адрес перепутали, что ли? Или нас накололи? Ну, если так, мне в милиции голову оторвут!

– Тогда пора смываться, потому что бригада отрывателей голов уже готова к действию! – хохотнул Валерий, но голос его звучал обеспокоенно, а глаза тревожно блестели. – Нет, не успеть, мы попались...

Георгий проследил за его взглядом и увидел в медленно сгущающихся сумерках два милицейских «газика», стоявших в стороне, под прикрытием кустов. Да, студентов заметили: дверцы распахнулись, и из машин высыпали пять или шесть человек в форме.

– Куда это вы летите, голуби сизокрылые? – насмешливо крикнул один из них, но тут же вгляделся в Николая – и даже сплюнул с досады: – А, это вы! Зря примчались. Нет здесь никого.

– Я и сам вижу, – кивнул Николай. – А почему?

– По кочану, – ответил милиционер, подходя ближе. По виду ему было лет сорок. Широкоплечий, круглолицый, улыбочивый. На погонах поблескивали четыре звездочки: капитан. – По кочану да по капусте. А вот кто ту капусту посадил, мы и должны выяснить. Нет ли среди ваших знатного овощевода?

Николай молча вглядывался в его лицо.

– При чем тут капуста? – раздраженно спросил Георгий. – Извините, товарищ капитан, ваш эзопов язык столь витиеват, что не всякому по зубам.

– Какой еще эзопов язык? – уставился на него капитан. – Эй, Лесной, ты бы построже с рядовым составом, а? А то что у тебя всяк так и лезет в беседу старших по званию. Никакой субординации, никакой дисциплины!

– Но мы же не в армии, – пожал плечами Николай. – При чем тут субординация? А с дисциплиной у нас все как надо, я вас уверяю, товарищ капитан.

– Зря ты так думаешь, – сказал капитан, окидывая студентов насмешливым взглядом. – Кто-то же из ваших предупредил эту шоблу, вот они и прикрыли лавочку. Так что зря я людей сюда дернул, казенный бензин жег, а вы зря денежки на билеты тратили. Хотя нет, не зря. Может быть, здесь же, на месте, выявим того, кто нам такие палки в колеса вставил?

И он вприщур пробежал глазами по лицам студентов.

Так вот оно что, сообразил Георгий. Милицейская бригада приехала попусту, в шалмане (или борделе, или как его там) никого не обнаружила. И капитан подозревает, что сорвал операцию, предупредив обитателей тайного публичного дома, кто-то из студентов. Ну и гад! Да как он смеет так думать!

Николай тоже понял, в чем их подозревает капитан. Лицо его помрачнело.

– За своих я ручаюсь, – сказал угрюмо. – И с таким же успехом могу предъявить претензии вам. Ведь именно на вашей территории заведение спокойно существовало чуть ли не год.

Капитан сердито раздул ноздри, но тут же круглое лицо его снова приняло насмешливое выражение:

– Один – ноль. Но только гол не засчитывается: я в Сормовском райотделе без году неделя. И не могу нести ответственности за то, что здесь без меня творилось. Я тут ни при чем, однако поручиться за всех не могу. Может, информация и через кого-то из наших ушла. Теперь придется поработать, пошукать двурушника.

– А заодно *поишукать*, – не без ехидства проговорил Георгий, – как и почему такой домина оказался занят борделем. Тут вообще-то жилой дом или учреждение какое?

– Ты бы навел все же порядок во вверенной тебе боевой единице, а, Лесной? – покосился на него капитан. – Хотя бы спрашивали разрешения обратиться к старшему по званию! В армии за такое разгильдяйство давным-давно на губу обоим отправили бы, и рядового, и командира отделения.

«Дурак или притворяется? – зло подумал Георгий. – Или, может, ему звание недавно присвоили, вот он и хочет услышать, как его то и дело товарищем капитаном называют? Ну и ну, второй день подряд натываюсь на каких-то ортодоксов! Вчера был лейтенант, любитель руки распускать, сегодня этот... остряк-самоучка, дед Щукарь в милицейских погонах...»

И вдруг с его зрением что-то произошло. То есть он точно знал, что смотрит на «остряка-самоучку», но видел почему-то не его, а женщину с пышными волосами, убранными в конский хвост, в зеленоватом платье, облегающем фигуру, в «лодочках» на высоченной шпильке. Откуда она здесь взялась?

«Мерещится мне...» – тряхнул головой Георгий. Рита исчезла. Капитан возник на своем месте. Это была уже не первая галлюцинация за день...

«Может, я заболел? Или сдвинулся? – с некоторым испугом подумал Георгий. – Но вроде бы не с чего... Или есть? Может, она и впрямь шпионка, которая не только наши секреты явилась выведывать, но и воздействовать на сознание советских людей? А что, и очень просто! Фашисты проводили такие опыты. И ребята с радиофака рассказывали: в США существует секретная программа контроля мысли, и можно с помощью каких-то высокочастотных колебаний изменять поведение человека. Нужен сверхмощный генератор, вот и все. Но только где у нее, у Риты, мог быть спрятан сверхмощный генератор? В сумочке, что ли? Нет, он, наверное, должен быть с телевизором высотой, не меньше! А в сумочках такие штуки носят только героини фантастических романов...»

– Дело не в форме, а в содержании вопроса, – раздался голос Николая, и Георгий вспомнил, где он находится. – А вопрос правильный, товарищ капитан! Почему никто не обращал внимания на то, что происходит в доме?

– Да все потому же: по кочану да по капусте, – раздраженно ответил капитан. – Видишь, как он стоит? Особняком. Да еще проулочек тут такой... хитренький. Собственно, он тупик, видите? Сюда люди сутками могут не заходить – кому в пустом, запертом доме надобность? К тому же дом уже год как назначен под капитальный ремонт. Вот его и прибрали к рукам. Раньше здесь была небольшая ведомственная гостиничка – от нее остались старые койки да тумбочки, списанные, но не вывезенные. Их и использовали. Окна днем стояли зашторенные, двери были заперты. Дом пустовал. А под вечер приходила уборщица, она же кастелянша. Не поздно приходила – часиков в восемь. Быстро протирала полы, застилала койки простынками, которые приносила с собой. И начинала ждать сперва «работниц», а потом и клиентуру. Когда рабочий день, в смысле, рабочая ночь начиналась, вокруг дома патрулировала пара-тройка амбалов с увесистыми кулачищами. Живо могли наладить непрошеного гостя в каком угодно направлении! Так вот они и жили, так вот и ковали нетрудовые доходы, так и несли разврат в массы...

– Интересная информация, – перебил Валерка Крамаренко. – Интересная и весьма подробная. Откуда она у вас, не поведаете, товарищ капитан? Такая осведомленность заставляет насторожиться, особенно если вспомнить, как вы били себя в грудь, уверяя, что человек здесь новый, можно сказать, свежий, и ни о каком таком гнезде разврата и слухом не слыхали.

– Еще один... готовый на «губу», – проворчал капитан. – Ох и народ! Распустился народ! И, между прочим, если уж такой разговор пошел, ни в какую грудь я себя не бил. Так только в песне поется. Слыхали? «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной...»

– «Я был за Россию ответчик, а он спал с моей женой», – скороговоркой перебил Георгий. – Знаем мы эту песню, кто ж ее не знает! И петь мы все тут умеем, еще и получше вашего. Но мы тут не на вечер бардовской песни собрались, а по делу. Вот и давайте по делу!

– Ладно, ребята, – махнул рукой капитан. – Я сегодня добрый, пользуйтесь. Я вас прощаю. Спросите, а почему Прошин такой добрый нынче? Кстати, моя фамилия Прошин. Капитан милиции Прошин Степан Серафимович.

– Дядя Степа – милиционер, – пробурчал Георгий себе под нос.

Лесной обернулся и тихонько показал ему кулак. Лицо у него было злое, и Георгий понял, что пора притихнуть. На счастье, «дядя Степа – милиционер» его не услышал.

– А добрый сегодня Прошин потому, что все же повезло ему, – продолжал он задумчиво. – Не зря скатались на прогулку в проулочек сей. Хоть содержателей притона и клиентуру сволочь какая-то предупредить успела, но до всех, видать, предупреждение не дошло. Двоих мы взяли.

– Клиентов?

– Девочек? – хором спросили Лесной и Крамаренко.

Прошин хохотнул:

– Одна, конечно, девочка, да не та. Молоденькая дуреха, которая работала тут уборщицей. Пришла вечером постели стелить, а тут ни души. Смылись начальнички, а обслугу предупредить, видать, забыли. Она, как нас увидела, перепугалась и бежать кинулась, да мы ее все ж поймали. Она о здешнем распорядке дня и поведала мне со всей откровенностью. Причем сразу понятно, что не врет девка. Никак она не годится на роль куртизанки, пусть даже сормовской.

– Мать честная... – пробормотал Валера. И аж руками всплеснул от изумления.

Правду сказать, и остальные смотрели на Прошина с изумлением, особенно Егор Малышев, который, конечно, этого слова в жизни своей не слышал. Остальные же если и не читали роман Бальзака, то хоть о блеске и нищете куртизанок слышали. Неужели нынче милиция пошла такая образованная, что Бальзака штудирует?

Прошин, впрочем, произведенного эффекта не заметил.

– Зато вторая, – продолжал он, возбужденно возвышая голос, – может, по возрасту и не девочка, зато, конечно, натуральная куртизанка. Не шлюха, не проститутка, а... – Он даже головой покачал. – Посмотрел я на нее, обыскал, изъясил у нее орудия производства – и сразу поверил, что сведения о притоне у вас, товарищ Лесной, были самые достоверные. Птица очень высокого полета! Вот, помню, в Москве лет пять назад был процесс над тунеядцами. Нас на практику посылали туда, когда я на юрфаке, на заочном, учился.

Георгий и Валерка переглянулись, но промолчали.

– Там я навиделся таких столичных штучек, что руки врозь. Все они после суда пачками за сто первый километр улетали, и еще спасибо должны были сказать, что не на Северный Урал. А красотки среди них были – ого-го! Эта хоть далеко не девочка, но... Да вы только посмотрите, какие штучки она при себе носила! Сразу видно, что проститутка. Такой «акварельный набор» порядочной женщине небось и даром не нужен.

И он жестом фокусника выдернул из-за спины плоскую кожаную сумку. В ней обнаружилась еще одна сумка, вернее, сумочка: такая шелковая, разноцветная, похожая на большой легкомысленный кошелек. Она защелкивалась на золоченый замочек, а внутри находился тот самый «акварельный набор», лишь взглянув на который Георгий понял: любая порядочная женщина (а также и непорядочная) с руками его оторвала бы у того, кто давал бы его ей даром, а если бы давали за деньги, то последней копейки не пожалела бы за него.

Там была помада в золоченом футлярчике, пудреница в черном замшевом конвертике, какие-то еще футлярчики, плоская баночка с золотой крышечкой, флакончик духов, на котором было витиевато написано два непонятных, неразборчивых в золоченой витиеватости слова. Да здесь все отливало скупым золотистым блеском, в том числе и пудреница, которую Георгий, как замороженный, достал из конвертика. На крышке обнаружился треугольный силуэт, известный всему миру: Эйфелева башня. И как только Георгий ее увидел, у него словно

бы что-то шелкнуло в голове, и он совершенно спокойно прочел неразборчивые прежде слова на флаконе духов. Они были написаны по-французски, а французский он учил в школе. Его для этого нарочно в четырнадцатую записали, полчаса от дома пилить, хотя рядом были первая – немецкая и восьмая – английская. В университете учили английский, Георгию пришлось срочно переучиваться, и он не раз поминал незлым, тихим словом бабу Сашу. Бабуля хотела, чтобы «Игоречек» парлекал и мерсикал по-французски! Ну, как он там парлекал и мерсикал – вопрос спорный, а вот духи были явно французские. И Эйфелева башня на крышечке пудреницы! И вообще все это «дамское счастье» могло принадлежать только одной женщине на свете...

– Вы знаете, кто она такая? – спросил Георгий почти с ужасом.

– Откуда? – пожал плечами Прошин. – Ни слова не добьешься, документов нет.

Странно... Почему она не взяла свой паспорт? И где, черт подери, «бурильщик» в сером костюме? Если он должен следить за ней, значит, должен и охранять, избавлять от неприятностей, как вчера.

Да нет, это не может быть Рита. Что ей делать в притоне? Просто сумасшествие. Как бы она тут оказалась? Ты просто бредишь ею, «Игоречек»!

– Где она?

– Что, любопытство разобрало? – хмыкнул Прошин. – Да вон, обе в машине сидят. Как птички в клетке.

Георгий взглянул на него дикими глазами и ринулся к «газикам».

– Аксаков, ты что? – окликнул Николай Лесной, но Георгий не слышал.

Он прилип в окошку первого «газика».

– Чего тебе, ну? – грозно распахнул дверцу шофер.

Нет, «клетка» пуста. Георгий подскочил ко второй машине.

– Чего тебе, ну? – точно так же грозно, с теми же словами высунулся водитель.

– Пропусти, пусть поглядит! – крикнул издали Прошин. – Кажись, знакомую нашел!

Георгий сунулся в кабину – да так и замер в неудобной позе. За густой сеткой вырисовывались две женские фигуры. Одна сидит согнувшись, содрогаясь от рыданий, другая...

– Гляди-ка! – с восхищением пропыхтел ему в затылок подоспевший Прошин. – Как на приеме в Зимнем дворце сидит и в ус не дует. Вот наглая баба, а?

Представить себе усатую бабу на приеме в Зимнем дворце у Георгия не достало воображения. Но эта *дама* прекрасно смотрелась бы в Лувре, подумал он, в том самом Лувре, в коридоры которого смело врывались Атос, Портос, Арамис и *примкнувший к ним* развязный гасконец по имени д'Артаньян. Только на ней должно быть длинное пышное платье, какое носила Милен Демонжо, а не ковбойка и короткая узкая юбка, высоко открывающая колени. Да если бы только колени!

Вот интересно, что за чулки на ней такие надеты? Юбка коротюсенькая, а никакого признака края чулок не видно. А, наверное, это и есть знаменитые колготки, по которым все модницы теперь с ума сходят: чулки, соединенные со штанишками. Эх, надо же такое выдумать! Небось французы их изобрели. А может, американцы.

Черт, сам себя одернул Георгий, о чем я? При чем тут чулки? Ведь это же она. Она! Она – здесь?

– Как вы здесь оказались? – воскликнул Георгий и чуть не добавил – «мадам», но осекся, потому что Рита бросила на него взгляд, заставивший онеметь.

Понятно. Она не хочет, чтобы открылось ее истинное лицо. Неужели все-таки шпионка?

– Ты правда ее знаешь, что ли? – изумился Прошин.

– Знаю, – кивнул Георгий. – Это... это моя родственница. Дальняя.

Рита хлопнула ресницами, у нее даже рот приоткрылся от изумления!

«Нет, на шпионку она не тянет, – сердито подумал Георгий. – Могла бы и подыграть!»

На счастье, Прошин тарашился на Георгия и не видел Ритино лица. Впрочем, она, словно прочитав сердитые мысли Георгия, уже овладела собой, и черты ее снова обрели фарфоровую невозмутимость.

– Как ваша фамилия, гражданка? – хитро поглядел на нее Прошин.

– Аксакова.

– А его фамилия как? – ткнул Прошин пальцем в Георгия, повернувшись к подоспевшему Лесному.

– Его фамилия Аксаков.

– Ишь ты... – протянул Прошин. – Неужели и правда родня? А зовут вас как, девушка?

Улыбка мелькнула в ее глазах:

– Рита.

– Вон что! Маргарита, значит! – откровенно восхитился Прошин. – Мое любимое имя. Королева Марго!

У Риты чуть приподнялись брови, и Георгий почему-то понял, что этот вариант своего имени она терпеть не может. Так же как и он свои уменьшительные варианты. Никакая не Маргарита, а Рита, только Рита. Неужели Прошин этого не чувствует, не понимает?!

Вот и хорошо, что не понимает. А то вдобавок и еще что-нибудь поймет – что понимать ему совершенно не требуется...

– Акса-аков, – протянул Валера Крамаренко (к машинам уже подтянулись все студенты, с любопытством липли к окошкам, заглядывали в кабину), – давай ты теперь будешь приглашать меня на все семейные праздники, а? Если среди твоей родни имеется такая краса...

Он не договорил, а начал почему-то шипеть. Оказалось, что Егор Малышев нечаянно встал ему на ногу и не собирается с нее сходить.

– Здравьете, – сказал он, восхищенно тарашась на Риту. – Здравьете, как жизнь?

– Вы что, тоже знакомы? – недоверчиво прищурился Прошин.

– Ну да, – простецки улыбаясь, сообщил Егор. – Недавно чаек вместе пили у дяди Коли Монахина. Знаете, летчик, Герой Советского Союза, почетный гражданин Энска? Он ведь отчим Аксакова.

Прошин хлопнул глазами.

«Ай да Егор, – оторопело подумал Георгий. – Ай да пинжак, ай да дитя природы! С таким можно идти в разведку! А с Валеркой – нельзя».

– Объясните мне в таком случае... – сердито начал Прошин. – Вот вы, товарищ Аксакова, объясните мне, что вы делали здесь в такое время суток?

– Гуляла, – просто ответила Рита. – Я здесь когда-то жила, в этом аррон... в этом районе.

Георгий покрылся ледяным потом. Полузабытый французский воскресал в его памяти, словно сбрызнутый живой водой. Ее странная обмолвка «аррон...» – начало слова arrondissement, «округ или район» по-французски. Рита чуть не проговорила!

«Вот так и сыпались шпионы! – сурово подумал он. – Никакого контроля над собой. Да и врет как-то неумело. Жила здесь... Где здесь, в Сормове? Она? Могла бы что-нибудь получше придумать».

– Жили здесь? – недоверчиво переспросил и Прошин. – Вы – здесь? В Сормове?

– Давно, – пояснила Рита. – Очень давно. Здесь, в тупике... он тогда назывался не тупик имени Коммуны, а просто – улица Тупиковая... стоял двухэтажный дом, красивый, с резными балконами, причудливой архитектуры...

– Графский дом, что ли? – перебил Прошин. – Ну так он лет пять тому назад сгорел.

– Почему? – спросила Рита.

– Ну, почему дома горят... – философски пожал плечами Прошин. – От пожаров. Тут народ жил самый непотребный, алкоголики да тунеядцы. Уснул кто-то с папироской зажженной, искра упала на матрас, вата загорелась. Тот недоумок сам сгорел и других пожег. Дело

ночью было, половина народонаселения спала мертвецки, да еще порядком проспиртовались все... А дом старый, очень старый, вспыхнул, что елка сухая, – и ку-ку.

– Да нет, я спросила, почему вы называете его графским, – сказала Рита.

– А что, княжеский? – хмыкнул Прошин. – Извините, коли не угодил, ваше сиятельство.

«Во-во, – мрачно подумал Георгий. – Сейчас ты в самую точку угодил!»

– Ну вы сами посудите, – чуть улыбнулась Рита, – какие могут быть графы и князья в Сормове? Тот дом в былые времена, до Октябрьского переворота...

«Ой!» – мысленно простонал ужаснувшийся опасной политической оговорке Георгий, и Рита словно услышала его – поправилась:

– До Октябрьской революции дом принадлежал управляющему заводами. Здесь жила его семья: жена, дети. Ну и прислуга, конечно. А вон там, – она махнула рукой в сторону шалмана-притона, – располагалась больничка. Кабинет врача, палаты для рабочих...

– Значит, вы явились сюда взглянуть на места своего, так сказать, прежнего обитания, – кивнул Прошин. – Хорошо. Но почему тогда вы покрывали эту особу, уборщицу притона? – Он указал на фигурку, скорчившуюся в углу «клетки» и дрожащую от рыданий. – Почему сказали, что не видели ее, когда мы ее искали? Она что, тоже жила здесь когда-то и вы узнали в ней свою прежнюю соседку и подругу детства? В классики вместе играли, что ли?

Рита растерянно взглянула на Георгия, и он совершенно отчетливо прочитал в ее глазах вопрос: «Что такое классики?» Бог ты мой, да они там, в Париже, живут, как в лесу!

«Классики, – мысленно проговорил он, гипнотизируя Риту взглядом, – это такая игра девчачья. Рисуют на асфальте мелом или осколком кирпича квадратики, ставят там цифры и прыгают по ним на одной ножке, гоня битку из квадратика в квадратик, из класса в класс. Понятно?»

Рита чуть улыбнулась и отвела от него глаза. Снисходительно взглянула на плачущую уборщицу:

– Она же девочка совсем. Мы никак не могли играть с ней вместе в классики, вы мне льстите. Я, думаю, уже эко... школу заканчивала, когда она только родилась.

«Я сейчас умру от сердечного припадка», – скрежетнул зубами Георгий, мигом отметив очередную обмолвку Риты. «Эко...» – йsole по-французски «школа».

– И я вас не обманывала, я ее и правда не видела, – продолжала Рита. – Я вошла в тупик, смотрю – ваши машины. Вдруг из дома выскакивают пятеро грозных, страшных мужчин, кричат: «Где она? Где девчонка?» Я честно признаюсь, что не видела никакой девчонки. Потом вы кидаетесь в кусты и вытаскиваете ее оттуда. Она там спряталась, испугавшись вас, и я ее понимаю... Но я этого не заметила. Клянусь.

«Нет, Шуйский, не клянись», как любили говорить в семье Георгия. Она, даже если и видела уборщицу, все равно не выдала бы ее милиции, ежу понятно. А также Прошину, который глядел очень сурово.

– Грозных... – повторил он недовольно. – Грозных и страшных... Мы были при исполнении, а вы нам пытались помешать.

– И в мыслях такого не было, – вежливо ответила Рита. – Я просто очень испугалась. Только и всего.

– Чего ж было пугаться, если вы ни в чем не замешаны? – пожал плечами капитан. – Прошли, знаете, те времена, когда людей ни за что ни про что привлекали. Сейчас задерживают исключительно по доказанным обвинениям.

– Тогда объясните, почему вы все-таки задержали ее сейчас? – вспылil Георгий. – Какие обвинения вы ей предъявляете и кто их доказал? Я же говорю, что она моя родственница, тетя моя. А что косметика у нее дорогая, ну так и что... По блату доставала. Верно?

Он глянул на Риту и спохватился. «Блат», «достать»... Это для Риты – непереводаемая игра слов! Сейчас она снова вытаращит глаза, и Прошин поймет, что его дурачат.

Однако Рита невозмутимо кивнула:

– Вот именно. Доставала по благу!

Интересно, подумал Георгий. Очень интересно! Что такое классики, она не знает, слова «блат» и «достать» – успела усвоить. С другой стороны, что ж тут удивительного? О чем говорят женщины в автобусах, в трамваях, на остановках и в очередях? Только о том, где что выбросили, да где что дают, да кто что достал, да у кого где блат... А вот интересно, знает ли она уже, что такое – «волосатая рука»? Позор, позор. Родимые пятна капитализма! Что-то никак не удастся их вывести с нашего социалистического лица!

А может, и правда – в Париже она доставала свои помады-духи-пудры по благу у знакомой продавщицы из этой, как ее... главный магазин-то в Париже... «Галереи Лафайет»? У нее среди знакомых завмаг «Галереи» или она, как все нормальные люди, занимала очередь с ночи и писала номер на ладони? Интересно...

На самом деле гораздо интереснее другое: за каким чертом ее принесло сюда, в тупик имени Коммуны? И откуда она знает про дом управляющего? Может, она историк? Изучает историю России? А что, вполне возможно.

– Ну ладно, – прервал его мысли Прошин. – Сколько можно воду в ступе толочь, в самом-то деле... Ночь на дворе.

Да, наконец-то стемнело.

– Ты, рыдай не рыдай, – обратился он к уборщице, – а все ж в отделение с нами проедешь. Ничего, ничего! Снимем с тебя показания, проводим по адресу прописки, удостоверимся, что ты там проживаешь, – да и отпустим под подписку о невыезде. А организаторов подпольного притона будем искать. Что касается вас, гражданка Аксакова... – Капитан, набывчась, посмотрел на Риту, потом обвел взглядом молчаливых студентов. – Ну, вас придется отпустить. Незаконного задержания не могу себе позволить. Но адрес запишем. Вы там же проживаете, где и племянник ваш? – кивнул он на Георгия.

– Улица Фигнер, два, – сообщил он. – Квартира два. Мы там все вместе проживаем. И мама с отчимом, и все остальные члены нашей семьи.

Это было, конечно, наглое вранье, но что следовало сказать? Что Рита проживает в *отеле*? В каком, кстати? В *отеле* «Россия» на набережной имени Жданова, бывшей Верхне-Волжской? Или в *отеле* «Москва» на Театральной площади? Или в недавно выстроенном *отеле* «Заря» на Ленинском проспекте? А может быть, в *отеле* «Крестьянская» на улице Дзержинского, напротив Мытного рынка? Да-да, именно там, по соседству с продавцами урюка и кураги, прибывшими из знойного Ташкента и не менее знойного города Фрунзе!

Капитан расстегнул болтавшийся на боку планшет и записал адрес.

– Понадобится – вызовем, Маргарита... Как вас по отчеству? – спросил он, снова застегивая планшет.

– Дмитриевна, – ответила Рита, с легким, почти неприметным вздохом смирившись с «Маргаритой».

– Ага, значит, Аксакова Маргарита Дмитриевна, – констатировал капитан, обходя «газик» и отпирая дверцу. – Выходите, гражданка Аксакова. А ты, голуба, куда? Ты сиди! – урезонил он уборщицу, которая зарыдала с новой силой.

Рита выбралась из «клетки», опираясь на руку Георгия, и чуть поморщилась, распрямляясь.

– Ноги затекли, – пояснила. – У меня оба колена были сломаны... уже давно, но все равно иногда очень болят, когда неудобно сидеть.

Студенты и милиционеры, собравшиеся около «газика», смотрели на нее недоверчиво. Этот «конский хвост», короткая юбка, туфли, косынка на шее, стильная сумка через плечо (сумка была возвращена капитаном вместе с «акварельным набором») – и разговоры о переломанных коленях? К тому же названные колени были, благодаря юбке, довольно высоко

открыты, и при свете фар собравшиеся мужчины тщательно их оглядели. Колени выглядели безупречно, как с точки зрения невзыскательных милиционеров, так и на взгляд более придирчивых студентов.

«Что у нее за юбка! – разозлился Георгий. – Кошмар просто!»

От этого «кошмара», честно говоря, от новомодных мини-юбок раньше он был просто в восторге, как большая часть мужского населения страны. Раньше – да. Вот до этой минуты, когда увидел, как мужчины озирают стройные Ритины ноги...

А ей словно все было нипочем. Одернула свою символическую юбку, обернулась к машине, постучала в зарешеченное стекло, за которым виднелась зареванная мордашка уборщицы.

– Не плачьте, – сказала Рита. – Капитан обещал выпустить вас, как только снимет показания. На всякий случай, когда я доберусь до телефона, то перезвоню в отделение и узнаю, как вы. И если вас не отпустят, тогда...

Она грозно нахмурилась.

– Я сказал – значит, сделаю, – буркнул Прошин. – А теперь прощайте, люди добрые, спасибо за помощь. Уж и не знаю, как вы будете в Верхнюю часть добираться, автобусы-то всего до одиннадцати ходят. Вот разве что на такси...

Дверцы «газиков» захлопнулись, милиция отбыла восвояси.

В тупике имени Коммуны на несколько мгновений воцарилась кромешная тьма. Потом Егор извлек из широких штанин карманный фонарик и несколько раз нажал на ручку. Раздалось тихое жужжание, на пыльной дороге заплескал круг света. Егор безостановочно жал на ручку, фонарик жужжал.

– На такси на стипендию не больно-то разъездишься, – покачал головой Николай, доставая такой же фонарик и тоже принимаясь жужжать.

У Георгия тоже был такой фонарик, но дома. С ним ходили в сарай за картошкой.

– У меня есть деньги, – спокойно сказала Рита, – я заплачу за вас. Где тут стоянка такси? Сколько нам надо машин, две? Ничего страшного, поедем, не ночевать же здесь!

– А почему бы и нет? – подал вдруг голос Егор Малышев. – Зачем вам такую кучу денег тратить... Пошли лучше ко мне ночевать, я вон там, за парком, живу, отсюда минут двадцать ходу. У нас дом свой, места много! Сессию мы сдали, на лекции ни свет ни заря не мчатся. Отдохнете, утром искупаемся на Светлоярском озере. Эх, хорошо!

Николай, Валера и Лёша Колобов довольно переглянулись.

– Отлично! – воскликнул Николай. – Конечно, мы останемся. Только мне домой надо позвонить, маму предупредить.

– И мне, – поддержал Лёша.

– Да надо бы и мне, – пробормотал и Валерий.

– Эх, беда, с телефонами тут у нас неладно, – огорчился Егор. – Был автомат около почты, да его сломали какие-то недоделанные из Дубравного. А почта уже закрыта. Что же делать?

– Да ничего особенного, – сказал Георгий. – Я сам позвоню всем вашим маманькам, когда домой приеду.

– Так ты с нами не останешься, что ли? – удивился Лесной.

Валерий отчетливо хмыкнул.

– Ну, я должен проводить даму, – пробормотал Георгий. – Как же иначе? Правда, денег на такси и у меня нет...

Рита раздраженно дернула плечом.

– Неважно, я же сказала: у меня есть. Спокойной ночи, молодые люди. Какая удача, что вы сегодня отправились в Сормово и смогли выручить меня из заточения!

– Да вам надо было только слово сказать, что вы родственница Николая Монахина, вас давно бы уже освободили и теперь пылинки с вас сдували, – ухмыльнулся Крамаренко.

– Вот уж чего не люблю, так это прятаться за спины высокопоставленных родственников, – усмехнулась Рита. – Но все хорошо, что хорошо кончается!

Под жужжание фонариков они все вместе свернули за угол. Здесь улица была худо-бедно освещена, потому что вела к центральной площади района. Там и находилась стоянка такси.

Студенты вразнобой попрощались.

– Позвонить не забудь, Аксаков, – напомнил Николай Лесной.

– Не забуду.

Валерий снова хмыкнул, и парни быстро пошли в противоположном направлении.

В ночной тишине отчетливо слышался топот их ног и донесся ехидный голос Валерки:

– А теперь объясните, что значит вся недавняя комедия? Колись, Гошка, живо, а то я сейчас лопну от любопытства. Кто эта чувиха?

– Да я откуда знаю? – лениво ответил Егор, а потом все стихло.

1941 год

– Харбин, – с мечтательной улыбкой проговорила Татьяна, – показался нам сущей землей обетованной – особенно после безумного странствия в числе многих тысяч наших соотечественников, устремившихся на восток. Вы не представляете, как долго и трудно мы добирались! Последним – по сути, единственным – приятным воспоминанием после бегства из Казани было прибытие в Уфу и то, как поразило нас в вокзальном ресторане обилие хлеба, белого и черного, щедро разложенного на больших тарелках на столиках, приготовленных для пассажиров. Какой же это голод, о котором было столько разговоров, думали мы? Нет, в России в то время голода не было, голодали только губернии, очутившиеся под властью большевиков! Уфа была переполнена до отказа. Мы расположились в отведенном для беженцев бараке, где спали на полу, чуть ли не вповалку. Те дни в памяти неясны и как-то нереальны... У матери, вероятно, ночью, когда она заснула, измученная, вырезали вшитые в пальто золотые монеты. Она была этим страшно расстроена, а ведь это такой пустяк по сравнению с тем, что мы оставили позади! Мне кажется теперь, что тот случай грубого насилия заставил нас впервые в жизни почувствовать свою незащищенность, на личном опыте убедиться в том, что мы стали людьми, с которыми особенно церемониться никто не станет. И прежде всего – жизнь. Мы ехали на лошадях, и где именно нам удалось сесть на поезд, я сказать не могу. Но в памяти остались верхняя полка вагона третьего класса, мелькавшие мимо железнодорожные станции, забитые чехами – упитанными, здоровыми парнями, а с наступлением темноты – неясные очертания раскинувшихся табором вдоль железнодорожного пути человеческих масс. Вся Россия строилась с места, вся Россия кочевала, ища призрака прошлого покоя!

Татьяна покачала головой, прикрыв глаза, и Инна воспользовалась случаем, чтобы украдкой зевнуть. Ей было неинтересно, совершенно неинтересно!

– В дороге умер отец... Уже наступила зима, мы закопали его в снегу, на насыпи. Нет, об этом не буду, не могу! – Татьяна мучительно стиснула кулаки, и Инна почувствовала себя чуточку лучше. – И вот Харбин... Мы наконец-то добрались до Харбина! Он был в ту пору сравнительно небольшим городом, но далеко не каким-то провинциальным захолустьем. Строилась КВЖД, вокруг строительства крутились большие деньги, у жизни был горячий темп. Когда же после революции и окончания Гражданской войны в Харбин, волна за волной, хлынули тысячи эмигрантов из России, город буквально расцвел.

Конечно, все это мы поняли и осознали потом. Сначала же было одно чувство: мы были в чужие, нерусские земли... Через границу мы переходили пешком, потом удалось сесть на поезд. Мы сошли с него на вокзале Харбина и замерли, прижимая к себе наши жалкие пожитки. Да и сами мы имели самый жалкий вид, не знали, куда идти. Надо искать жилье, но где, как?

Какой-то добрый человек, увидев нашу растерянность, сжалился над нами и посоветовал идти к базарчику. Там-де можно найти людей, которые сдают комнаты или квартиры. Мы пошли. Ряды кишели невиданным изобилием продуктов, зелени... Да, столько зелени и фруктов мы отродясь не видали! И все было такое чистое и аккуратное. Никогда не заметишь там грязной картошки или куриных яиц, запачканных пометом. Все тщательно вымыто, все радует глаз. Самый незначительный пучок зелени – свежий, обрызганный водой: крестьяне специально приносили с собой ведерки и маленькие метелочки. Потом я к таким базарам привыкла, они ведь и здесь, в Париже, очень чистые, но тогда, после России, тем более после разгромленной России, это было удивительно. Особенно яблоки меня поразили, – с восторженной улыбкой проговорила Татьяна. – Самый вид их. Ни одной червоточинки, все отборные! Неужели только такие там растут, думалось. Как в райских садах? Потом я узнала, конечно, что червивые и битые тоже бывают, но их никогда не выкладывают на прилавок, продают гораздо дешевле,

потому что они «не радуют взор», как говорят китайцы. Ну ничего, зато они частенько радовали наш вкус! Кстати, вкус у китайских яблок поразительный. Ничего подобного у нас не растет. Садоводы наклеивают на плоды бумажки с иероглифами-пожеланиями, конечно, только с самыми благими. Это так красиво! И так приятно! Покупаешь яблоко и видишь, что тебя ждет. Оказывается – счастье, благополучие, богатство, счастье в любви...

Глаза Татьяны затуманились.

– Вам попался иероглиф, означающий счастье в любви? – сладким голосом шепнула Инна, которая все еще не оставляла надежды навести Татьяну на интересующую ее тему.

– Ну, каких только мне иероглифов не попадалось! – засмеялась та. – Про счастье в любви – тоже были. Но больше других мне запомнился один, который означал: меня ждут невероятные перемены в судьбе. И все сбылось... Но я отвлеклась. Итак, мы стояли на краю базара и смотрели на изобилие еды, которая лежала перед нами. Мы были очень голодны, глаза наши, вероятно, жадно сверкали, потому что торговцы с корзинами (китайцы, особенно зеленщики, часто носят товар на таких как бы коромыслах, к которым привешены треугольные корзины) крутились вокруг нас, нахваливая свои овощи и пироги. Конечно, мы ни слова не понимали, но и так все было ясно: вкуснее, мол, наших вы в жизни не едали! От запахов, от голода, от разногласия, от страха перед будущим я чуть не лишилась сознания. Мама тоже была очень бледна. Брата толкнули – два китайца волокли длинную-предлинную (хвост тащился по земле!) рыбу. У меня подкосились ноги, но вдруг меня крепко подхватили под локоть. Я оглянулась: передо мной стояла молодая китайка маленького роста с очень приветливым выражением узкоглазого лица. На ней был простой синий халат, а ноги были в обычных сандалиях, не перебинтованные.

– Как это? – удивилась Инна.

– Ну, видите ли, у китайцев в знатных семьях еще и в наше время ноги уродуют бинтами. Чтобы не росли, оставались малюсенькими, как у девочек. Ходить на таких ножках почти невозможно: только в обуви особого фасона. Такие ножки – признак очень высокого происхождения. Простолюдинкам их не бинтуют. И вообще, в Маньчжурии такой обычай мало ведется. «Мадама и капитана квартира зелают?» – спросила китайка. У нее был чирикающий говорок, но слова по-русски она произносила довольно бойко и разборчиво. «Да, но... – беспомощно пробормотала мама. – Но нам нужно что-нибудь дешевое». Китайка кивнула: «У нас десево. Десевле не бывает!» Брат смотрел недоверчиво: «Ну, в какую-нибудь хижину с крысами мы тоже не пойдем!» Китайка усмехнулась: «Крыса нету, мадама Маринка крыса боится!» – «Кто такая мадама Маринка? – спросил брат. – Хозяйка твоя? Она русская? Она сдает квартиры? У нее свой дом?» – «Русская, да, хозяйка, – закивала китайка. – Но дом не ее, а моей папы!»

Мы уже знали, китайцы все русские существительные переводят в женский род, поэтому не удивились, но все равно слышать про «мою папу» было смешно, и мы невольно засмеялись. И так, смеясь, пошли вслед за Сяо Лю – так назвалась китайка. Мы шли длинной улицей мимо магазинов. На вывесках мелькали имена – Чурин и Кутузов, Тарасенко и Клестов... Мы озирались с ошалелым видом. Словно вернулись назад, в прежние, еще не изуродованные большевиками времена. В витринах – Боже мой, это было что-то невероятное! – окорока, колбасы, в больших красивых мисках лежали уже приготовленные салаты и винегреты, холодцы, фаршированный перец, форшмак, заливное, бочонки с икрой...

Наконец мы пришли к странному одноэтажному строению из саманного кирпича весьма оригинального вида. Его, видимо, часто увеличивали пристройками, лишеными какого-то стиля, сляпанными на скорую руку, однако именно разнообразием дом и привлекал. Неожиданные двери, лестнички там, крылечки тут... Станным образом он походил на наш дом в Сормове, который папа называл «скворечник-грачевник». Этот же напоминал ласточкино гнездо, из которого пытались сделать именно что скворечник-грачевник. Потом мы узнали, что Сяо Лю была дочерью китайца по имени Чжен и какой-то женщины с низовьев Амура,

кажется, племя называют гольды. Женщина умерла от родов, а Чжен был изгнан из города Х. своими соплеменниками. Он ушел в Харбин и там нажил небольшие деньги. Вдобавок умерший родственник оставил ему дом, который Чжен теперь сдавал внаем. Однако он не забыл дочь, и когда та со своей русской хозяйкой после бегства от революции оказалась в Харбине, принял их у себя. Русская «мадам» взяла все в свои руки и оказалась очень предприимчивой, от жильцов отбою не было, так что дом не раз пришлось достраивать и обустраивать заново, почему он и приобрел столь причудливый вид.

– Ага, – глубокомысленно сказала Инна Яковлевна, чтобы что-нибудь сказать: молчать и кивать было уж как-то неловко, да и надоело. – Стало быть, мадама Маринка и была та самая хозяйка вашей... как ее там... китайки?

Татьяна засмеялась:

– Ой, я и сама раньше так говорила: китайка да корейка. А надо – китайка и корейка. Китайка – это ведь материя, а корейка – копченое мясо. Но угадали вы правильно: мадама Маринка была хозяйкой Сяо Лю, и та была ей очень предана. Отношения между ними сложились почти родственные, как мы сразу поняли. Но не это нас поразило, когда мы увидели ту Маринку. Встреча с ней была очередной поразительной иллюстрацией ваших слов – мол, мир тесен. Тесен так, что мы не поверили своим глазам, увидев перед собой – Марину Аверьянову!

– Кого? – небрежно спросила Инна Яковлевна. И тут же хрипло вскричала: – Кого?! – И закашлялась, пытаясь скрыть свое потрясение. Может быть, Татьяна решит, что она поперхнулась?

Кажется, Татьяна так и решила, потому что заботливо похлопала ее по спине:

– Вам лучше? Хотите пить? Ах да, воды все равно нет...

– Ничего... мне лучше... – с трудом выговорила Инна Яковлевна. – Рассказывайте дальше.

– Господи, да я вам, наверное, нещадно надоела своей болтовней, – махнула рукой Татьяна. – Может быть, вы хотите вздремнуть?

– Ну что вы, Танечка, – просюсюкала Инна Яковлевна. – Мне очень интересно, поверьте. Дело в том, что я знала одну женщину по имени Марина Аверьянова – в давние, прежние времена. Интересно, не та ли она самая?

– Нет, вряд ли, – улыбнулась Татьяна. – Не думаю, что вы могли знать ту Марину. Она ведь была из Энска. И самое смешное – тоже моя родственница.

– Вообразите! – пробормотала Инна.

– Да, вот именно, что трудно себе вообразить. Я ее ни за что не узнала бы, ведь видела всего несколько раз, но моя мать знала ее довольно хорошо. Марина была дочерью одного из самых богатых людей Энска, Игнатия Тихоновича Аверьянова. Дочерью – и единственной наследницей. Причем унаследовать два миллиона золотом она должна была очень скоро – отец был неизлечимо болен. Однако Марину угораздило связаться с мятежниками. То ли с большевиками, то ли с эсерами, я толком не знаю, но новые ее друзья были самые омерзительные твари. Они пытались ограбить банк ее отца, убить замечательного человека, начальника энской сыскальной полиции, вовлекали в свои грязные делишки невинных людей. Они погубили одну чудесную девушку – Тамару Салтыкову, мы потом с ней работали вместе в лазарете, в пятнадцатом году, она была не в себе, бедняжка...

– Скажите, какое несчастье, – пробормотала Инна Яковлевна, с трудом сдерживаясь, чтобы не схватить Татьяну за горло и не выжать из нее все, о чем она может умолчать. – Так что же с вашей родственницей?

– А, Марина... С Мариной случилась неприятная история. Когда ее отец узнал о судьбе Тамары Салтыковой, о новых друзьях дочери, он лишил ее наследства.

– Как пошло, – пожалала плечами Инна Яковлевна, уже вполне овладевшая собой. – Ну совершенно как в пьесе какого-нибудь замшелого Островского. Или в романе этого, как его... вашего земляка, он тоже из Энска...

– Максима Горького? – подсказала Татьяна.

– Да при чем тут Горький? Я имела в виду Мельникова-Печерского!

– Да, похоже. Тем паче что Игнатий Тихонович был из крепкой староверской семьи. Марина же оказалась совсем другая. Причем знаете, что вышло с наследством? Отец узнал о бурном романе Марины с главным террористом по фамилии Туманский. Или Туманцев? Мама знала его довольно хорошо, потому что он служил врачом при сормовских заводах. По ее словам, выглядел он вполне *soe il faut*, даже не догадаешься, что революционер. В общем, Аверьянов понял, что после его смерти все деньги уйдут на антиправительственную деятельность, а потому лишил Марину наследства и передал его другим ближайшим родственникам – Русановым, Сашеньке и Шурке. Моим кузенам.

Инна Яковлевна не сдержалась – скривилась при упоминании этих имен, но тут же схватилась за щеку:

– Ой, зуб... просто беда! Извините, Танечка, я вас все время перебиваю. Рассказывайте дальше, ваши воспоминания необычайно занимательны!

– Когда началась война, деньги начали обесцениваться. Однако Сашенька весь свой капитал перевела на помощь армии. Шурка же был слишком молод, чтобы распоряжаться деньгами. Согласно завещанию Аверьянова, он получил бы это право в день совершеннолетия. Но случилась сперва одна революция, потом другая, деньги Аверьянова были конфискованы и пропали. То есть Шурка тоже лишился капитала. Ни ему, ни Сашеньке наследство впрок не пошло.

Инна Яковлевна обратила внимание: Татьяна ни словом не обмолвилась, что на Сашеньке Русановой, вернее, на ее деньгах был женат ее собственный муж. Может, не знала? В смысле о том, по каким причинам свершился этот брак. Легко представить, каким бы сделалось ее лицо, кабы она знала, что рядом с ней сидит в некотором роде сваха, устроившая свадьбу Дмитрия Аксакова и Александры Русановой! Собственно, представить-то можно что угодно, но лучше Татьяне таких подробностей не знать. Дела давно минувших дней и все такое. И вообще пора поговорить о том, что более важно и интересно для Инны экс-Фламандской.

– Так что же было дальше с Мариной? – нетерпеливо спросила она.

– Хоть тот революционер, с которым у нее был роман, и строил из себя нового человека, – усмехнулась Татьяна, – поступил он с бывшей богатой невестой, в одночасье ставшей бесприданницей, очень пошло. Совсем как персонаж пьес Островского или романов Мельникова-Печерского, как мещанин и подлец. Он ее бросил. А между тем Марина была беременна, когда ее арестовали за подготовку покушения на господина Смольникова, начальника сыскного отдела Энской полиции.

– Беременна? – выдохнула Инна. – Так значит, это правда?!

– Что вы говорите? – озабоченно поглядела на нее Татьяна.

– О, я хотела сказать... – закрутилась Инна Яковлевна на жестком сиденье, как уж на горячей сковородке, и выкрутилась-таки: – Я хотела сказать, неужели это правда?

– Чистая правда, уверяю вас, – кивнула Татьяна. – Моя матушка прекрасно помнила всю историю, которая происходила на ее глазах. Итак, Марина была осуждена, сослана в город Х. и там в конце четырнадцатого года родила сына.

«Все сходится, – мысленно прикинула Инна Яковлевна. – Ой, я не могу, я просто умру сейчас от потрясения! Неужели... Нет, надо взять себя в руки! Нельзя так явно показывать свой интерес. Танечка, конечно, круглая дуручка, но все же следует быть осторожней, вести себя так, словно мы всего лишь предаемся от нечего делать досужей болтовне».

– Сына? Ну надо же! – спросила она, теперь уже старательно изображая зевок.

– Да, сына, – кивнула «круглая дурочка». – Тетушка Олимпиада Николаевна, старшая сестра моей матери, иногда переписывалась с Мариной, ведь мы с Аверьяновыми тоже в родстве, вернее, в свойстве. Потом грянула революция, почтовое сообщение с городом Х., и прежде трудное, вовсе прервалось. Мы не имели ни малейшего представления о судьбе Марины, да и, честно признаться, почти не думали о ней. Можно сказать, и вовсе не думали. Такая жизнь была, что не до... – Она махнула рукой. – Однако, увидевшись в Харбине и узнав друг друга, мы просто-таки кинулись друг дружке в объятия и, в лучших традициях сентиментальных романов, залились слезами.

– Погодите, погодите! – нетерпеливо воскликнула Инна Яковлевна, немедленно забыв собственные призывы к осторожности. – Что-то здесь не так. Вы говорили, она состояла в связи с революционерами, была сослана, то есть пострадала от царского режима. А потом бежала в Харбин? По-хорошему, она должна была получить за свое усердие какой-то высокий пост от большевиков, пользоваться всеми благами при советской власти, а не прятаться в маньчжурском захолустье. Или она состояла все же в эсеровской организации? Насколько мне известно, их партия вступила в конфронтацию с большевиками и была почти полностью истреблена, начиная с политической истерички Спиридоновой и кончая самыми незначительными ее членами.

– Как вы хорошо разбираетесь в политике! – с уважением сказала Татьяна.

Инна Яковлевна скромно пожалала плечами:

– Мы здесь, в Париже, одно время жили по соседству с бывшим эсером...

Уже много, много лет ложь, даже самая отъявленная, не вызывала у нее ни малейших затруднений.

– Оказывается, Марина совершенно переменилась, – ответила Татьяна. – В шестнадцатом году ей удалось каким-то неведомым образом (она никогда не рассказывала об этом, вообще предпочитала помалкивать о жизни в городе Х.) бежать из ссылки. Она бросила сына под присмотр Сяо Лю и каких-то знакомых – и бежала, чтобы продолжать революционную работу. Но в пути заболела, попала в один из сибирских городов и там нагляделась таких ужасов народного разгула, что в душе у нее произошел полный переворот. Она поняла, что страна ввергается большевиками в бездну анархии, что демократию нужно защищать. Марина добралась до Петрограда и записалась в женский батальон, который был придан Керенскому.

– Ого! – искренне поразились Инна Яковлевна.

– Судя по рассказам Марины, батальон оставался в октябре семнадцатого года чуть ли не последним оплотом Временного правительства, женщины сражались, не щадя жизней. Многих убила матросня, ворвавшаяся в Зимний, многие были изнасилованы, кое-кому удалось бежать. Марину ранили, но с помощью подруг ей удалось скрыться. Какие-то добрые люди выходили, вылечили ее. У нее было немного денег, золото, их хватило, чтобы выбраться из Петрограда и вернуться в город Х.

– Почему же не в Энск?

– Марина говорила, что питала страшное отвращение ко всему, что было связано с прошлым. Когда-то она лелеяла планы мести Русановым (хотя в чем они-то были перед ней виноваты?!), мечтала снова встретиться с человеком, которого любила и от которого у нее был сын, и тоже хотела отомстить... Но после Октябрьского мятежа она желала одного: забыть прошлое, исчезнуть из обезумевшей страны, а главное – увезти из нее сына, чтобы он никогда, даже случайно, не встретился со своим отцом, которого Марина не просто презирала, а ненавидела от всей души. Она вообще всегда была человеком сильных страстей, ничего не делала наполовину: любила – так без рассудка, ненавидела – так смертельно. Ее ненависть принимала порой смешные формы. Например, она очень хотела перекрестить сына, которого назвала в честь того революционера.

– Ага, – глубокомысленно изрекла Инна Яковлевна. – Вы, кажется, упомянули, что его звали Андреем Туманским? Значит, у нее сын – Андрей?

– Сына зовут Павлом, – пояснила Татьяна. – У Туманского была партийная кличка – товарищ Павел. Марина полюбила его под этим именем. Потом, во время своих приключений в Сибири, она приняла и себе фамилию схожую – Павлова. И даже отчество сменила. Теперь ее зовут Марина Ивановна Павлова.

– А сын, стало быть, Павел Павлов, – усмехнулась Инна Яковлевна.

– Более того, у него и отчество – Павлович, – добавила Татьяна. – Тоже в честь того товарища Павла, которого когда-то так любила Марина... Потом, в пору нашего знакомства в Харбине, она страшно жалела об этом, но китайские полицейские власти не разрешили ей оформить смену документов мальчика. Если бы она вышла замуж за какого-то человека, который дал бы ей свою фамилию и усыновил Павла, тогда еще можно было бы изменить его имя, но Марина питала страшное отвращение к мужчинам. Стоило ей почуять интерес мужчины к себе, она становилась грубой, делала все, чтобы оттолкнуть его от себя!

– Такая уж была красавица, что мужчины от нее голову теряли? – усмехнулась Инна Яковлевна.

Она вспомнила – а у нее была отменная память! – как скривился в свое время Андрей Туманский (товарищ Павел, Юрский, Гаврилов, Сазонов... et cetera), описывая Марину Аверьянову: толстая, лупоглазая, неуклюжая, шумно дышит, глупа, как пробка... Впрочем, на объективность его описания могло повлиять то, что Марина как раз в то время лишилась всего своего состояния, которое прежде представляло ее главную привлекательность как для партии вообще, так и для Туманского (он же... он же... он же... etc.) в частности. Ну да, Туманский тогда был очень раздосадован. Инна помнила разговор с ним, состоявшийся в энской гостинице «Россия». А премиленький был у нее там люкс, с огромным окном, выходящим на Волгу... Под окном же стояла коляска, на козлах которой сидел, поигрывая синим взглядом и сводя с ума мимо идущих дам и барышень, приснопамятный... товарищ Борис или все же товарищ Виктор? А впрочем, к чему его вспоминать, он давно уже мертв!

– Красавица? Марина? – задумчиво переспросила Татьяна. – Да нет, красавицей ее никогда нельзя было назвать. Я ее не видела в молодости, мы с братом переехали в Энск, когда Марина уже отправилась в ссылку, но, как мама рассказывала, Марина была очень неприглядна. Однако с годами все в ней как бы смягчилось, переменялось – от души до внешности. Она ходила только в черном, и черный цвет был ей очень к лицу, облагораживал ее. Она постоянно посещала церковь, она всем своим видом являла одно только смирение и покорность судьбе. Это было очень привлекательно, знаете, потому что всякий видел – вот сильная женщина, которую сломала жизнь. Она вызывала симпатию и жалость враз. И я знала как минимум трех мужчин, которые пытались за ней ухаживать. Один был такой же постоялец дома Чжена, как и мы, другой – наш сосед по улице, третий – сослуживец моего брата на КВЖД. Напрасны были их старания! Марина просто отшвырнула их от себя! Я даже не знаю, что произвело на нее такое впечатление, та давняя история или еще какие-то события ее жизни, но на всем свете для нее существовал только один мужчина, которого она обожала, – ее сын.

– И... и каков же он из себя? – как бы невзначай спросила Инна Яковлевна.

– О, знаете, он был очень милый. Сейчас-то... Сколько же лет прошло? Мы в двадцать четвертом году уехали из Харбина, когда китайцы начали забирать власть на КВЖД и начались репрессии против русских служащих. Тогда погиб мой брат... – Татьяна перекрестилась. Справа налево, конечно. – Моя мать, кстати, с тех пор стала болеть сердцем и так и не смогла оправиться от удара...

Инна чуть повела бровью. В 1937 году ей пришлось повидаться с Лидией Николаевной Шатиловой. Менее болезненной особы тогда трудно было себе представить!

– Ваша матушка живет с вами? – осторожно поинтересовалась она.

– Она умерла два года назад от сердечного приступа. – Татьяна снова перекрестилась.
– Царство небесное... – не без изумления пробормотала Инна.
– Царство небесное, – эхом отозвалась Татьяна. – Но что-то я отвлеклась. Мы говорили о Павле.

Инна Яковлевна наострила уши.

– Выходит, с тех пор, как я видела его в последний раз, семнадцать лет минуло. Он уже совсем взрослый мужчина, ему должно быть двадцать семь. Мне трудно представить его теперь, но тогда он был худенький и обещал стать высоким, у него были очень правильные черты, темно-русые волосы, красивые темно-серые глаза...

Татьяна улыбнулась, и Инна Яковлевна рассеянно улыбнулась в ответ. Ей вспомнился Всеволод Юрский, Андрей Туманский, товарищ Павел, каким он был тогда, в пору их совместной попытки завладеть аверьяновскими деньгами. Высокий, широкоплечий, темно-серые глаза на чеканном лице, суровые брови, роскошные ресницы...

Сомнений нет, ребенка Марина Аверьянова родила от него. Ну, вот и подтвердился тот слух, который заставил когда-то, в восемнадцатом году, Всеволода Юрского, члена правительственной комиссии по отправке конфискованного «царского золота» из Энска (Энск был в то время золотым карманом России, из которого черпали и черпали большевики для оплаты контрибуции Германии согласно Брест-Литовскому мирному договору), натворить столько глупостей...

Та история и поведение Юрского поразили Инну. В первый раз она обнаружила, что у ее давнего товарища по партии и по организации всяческих интриг, безжалостного, хладнокровного Всеволода Юрского есть некий вполне человеческий орган, называемый сердцем. И трепетание сего органа вынуждало его на совершенно невероятные поступки! Оказывается, человек, который мог равнодушно послать на верную смерть доверчивую Тамару Салтыкову и не оглядываясь бросить обожающую его Марину Аверьянову, человек, на руках которого было столько крови, любил детей. Нет, не вообще, не в мировом масштабе. Он любил своих детей. Он был одержим своим отцовством!

Еще в молодости Всеволод женился, но вскоре жена и сын умерли: они жили в Астрахани, где каждое лето разражалась холера. Сам Юрский выздоровел чудом, но зрелище мучительного умирания его ребенка произвело на него страшное впечатление. Он не мог забыть сына (жену-то забыл довольно скоро) и сделался одержим желанием иметь других детей. Однако напрасно. Он обращался к врачам – те уклончиво советовали лечиться, но некоторые сразу выносили приговор: детей у него, скорей всего, больше не будет. Значит, врачи ошибались!

В тот день, когда Смольников арестовал Марину Аверьянову, Юрский и Инна бежали из Энска. На другой день они прибыли в Москву и немедленно выехали за границу. Разумеется, Всеволод ничего не знал ни о судьбе Марины (да она его и не интересовала нимало!), ни о ее ребенке. Вернулся он в Россию только летом семнадцатого. Юрский был одним из тех большевистских комиссаров, кто первым ворвался в Зимний дворец в знаменитый октябрьский день. Он не жалел себя в ту пору. Близилось исполнение цели – революция свершилась, теперь начался передел власти в России. Всеволод Юрский мог стать большим, очень большим человеком! Он мечтал о министерском портфеле... вернее, о комиссарском «маузере» (ну какие в ту пору вообще были портфели?). Ему неважно было, с помощью чего осуществлять свою власть, с помощью «маузера», портфеля, пулемета или пачки декретов. Юрский всеми силами стремился заглядеть свой промах в операции «Невеста», готов был исполнить любое, самое опасное поручение ЦК. У него были там покровители, которые и помогли ему войти в состав комиссии по отправке из Энска золота.

Тогда-то Юрский и узнал, что Марина Аверьянова отправилась в ссылку беременной. Известие потрясло его. Выходило, что он сам бросил на произвол судьбы своего столь желанного, столь долгожданного ребенка. Юрский ни на миг не усомнился в своем отцовстве и думал

в те дни лишь об одном: найти ребенка. Он долго не мог навести никаких справок о Марине – огромную Россию начала разрывать на части Гражданская война, но оставалась надежда, что бывшая любовница по-прежнему живет в городе X. Марина была ему не нужна, но у нее рос его ребенок. Юрский хотел найти его – и бежать с ним из России.

Да, в то время его революционная непримиримость и убежденность, его беззаветный фанатизм уже дали трещину. Он разуверился не то что в смысле творимого большевиками – небось даже и Ленин не был вполне уверен в том, что же он хочет сотворить в России! – он разуверился в их победе.

Закончив свои дела в Энске, Юрский вернулся в Москву. Он искал Марину, посылал телеграммы в X., рвался туда поехать – безуспешно. А в то время эшелоны с русским золотом дошли до Германии, и начались неприятности. Контрибуция оказалась значительно траченной... как шуба – молью. Разворовали золотишко непримиримые ленинцы! Кто крал, когда, как – неведомо. Германцы предъявляли претензии, большевики юлили, замалчивали, скрывали факт скандала, но в то же время, как могли, пытались найти концы.

Но какие тогда могли быть концы? Что можно было найти? Обнаружили двух или трех идиотов, которые привезли золотую пыль, прилипшую к их рукам, с собой в Москву, поставили их к стенке. А Юрскому под горячую руку припомнили старый грешок – провал операции «Невеста». Его отправили в Париж – шпионить против РОВС,⁹ выявлять среди белоэмигрантов желающих вернуться в Россию, сманивать их всеми правдами и неправдами, чтобы в России уничтожить как шпионов...

Инна была все эти годы рядом с ним, и уж кто-кто, а она отлично знала, что Юрский не избавился от своей *idée-fixe*. Он не сомневался, что Марина Аверьянова родила ребенка именно от него. Все доводы Инны, что, переспав с ним, она могла переспать еще с десятком столь же пламенных революционеров, не переубедили его. Его вера граничила с фанатизмом... И теперь Инна убедилась, что Юрский был прав.

Шли годы, но он никак не хотел смириться с тем, что ему не найти Марину, не найти ребенка. А между тем они с Инной жили припеваючи во Франции – родина хорошо держала своих представителей в странах капитала. Суммы, которые расходовались на то, чтобы обратить симпатии «всех трудящихся» к республике Советов, легко можно было назвать баснословными. Юрский являлся одним из тех, через кого проходили деньги, предназначенные для поддержки Французской компартии.

Кроме того, еще в восемнадцатом Юрский проделал кое-какой гешефт с продажей облигаций царского правительства, хранившихся в Госбанке Энска. Операция была для добычи денег для партии, однако средства перечислялись на его личный счет.

Итак, с материальной стороной все обстояло отлично. Сложнее было с моральной – с внезапно родившимся, запоздалым, неудовлетворенным, гипертрофированным отцовским чувством. Юрский не мог смириться с потерей второго ребенка – и отчаянно пытался «сделать» третьего. Ох, сколько натерпелась Инна от своего любовника, который с годами стал ей так близок, ну совсем как муж, хоть они никогда не были официально женаты! Он сделался просто частью ее. Она понимала, что смешно ревновать немолодого, погрузневшего, полысевшего человека к молодым женщинам, да и не была Инна ревнива, однако последние несколько лет жизни с Юрским были сущей мукой. А та история, когда она почти возненавидела родную дочь...

⁹ Российский объединенный войсковой союз – антисоветская организация, созданная в эмиграции бывшими белыми офицерами. (Прим. автора.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.